

LIVRES
& DISQUES
RUSSES

DES
CHAMPS ÉLYSÉES

QUOTIDIEN
PARQUIER

СЕРИЯ
“ЧУЖЕСТРАНЦЫ”

18+

ВАСИЛИЙ
ЯНОВСКИЙ
*Поля
Елисейские*

Книга памяти



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Чужестранцы

Василий ЯНОВСКИЙ

Поля Елисейские. Книга памяти

«Издательство АСТ»

1983, 2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Яновский В. С.

Поля Елисейские. Книга памяти / В. С. Яновский —
«Издательство АСТ», 1983, 2026 — (Чужестранцы)

ISBN 978-5-17-185597-0

“Поля Елисейские” Василия Яновского (1906, Полтава - 1989, Нью-Йорк) — очень личные, яркие, субъективные воспоминания о русской эмиграции в Париже первой половины XX века. Главные герои книги — “незамеченное поколение”, дети первой волны эмиграции. Они противопоставляли себя “старшим писателям” и считали, что незаслуженно оказались на втором плане. Среди близких друзей В. Яновского были Борис Поплавский, Юрий Фельзен, Валериан Дряхлов; он был знаком с Д. Мережковским, З. Гиппиус, И. Бунинным, Б. Зайцевым, В. Ходасевичем, Г. Ивановым и др. Книга иллюстрирована редкими фотографиями. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-185597-0

© Яновский В. С., 1983, 2026
© Издательство АСТ, 1983, 2026

Содержание

Незамеченный писатель	6
Поля Елисейские	18
I	18
II	33
III	44
IV	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Василий Яновский

Поля Елисейские. Книга памяти

- © Яновский В.С., наследники
- © Коростелев О.А., наследники, комментарии
- © Мельников Н.Г., предисловие, комментарии
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление
- © ООО “Издательство АСТ”

Незамеченный писатель

Василий Семенович Яновский (1906–1989) – один из тех писателей русского зарубежья, кого смело можно отнести к “незамеченному поколению”. Так, с легкой руки В.С. Варшавского, принято называть генерацию “эмигрантских сыновей”, пришедших в литературу в двадцатые годы прошлого столетия. “Большинство из них родилось в первом десятилетии века. Они успели получить в России только начальное воспитание и попали в эмиграцию недоучившимися подростками. Старшие из них прошли в рядах Добровольческой армии страшный опыт Гражданской войны. Большинство же покинуло родину почти детьми. Они еще помнят Россию и на чужбине чувствуют себя изгнанниками. В этом их отличие от последующих эмигрантских поколений. Но воспоминаний о России у них слишком мало, чтобы ими можно было жить. В этом их отличие от поколений старших”.¹

Равнодушное непонимание издателей и редакторов толстых журналов, вплоть до середины тридцатых годов отдававших предпочтение маститым литераторам, составившим себе имя еще до эмиграции, отсутствие развитого книжного рынка и своего читателя, наконец, тяжелое материальное положение, а иногда и просто нищета, убивающая саму физическую возможность заниматься литературой, – все это предопределило творческую судьбу большинства молодых писателей “русского рассеяния”.

По воспоминаниям Юрия Терапиано, “подавляющее большинство знало не только бедность, не только работу на фабрике или в бюро, но и длительную безработицу с жалким пособием для безработных (эти годы были как раз годами большой безработицы во Франции и тяжелого положения иностранцев). Страдали также от хронического недосыпания те, которые имели работу: литературные собрания всякого рода начинались и кончались поздно, а утром нужно было рано вставать; так у меня, например, тянулось пять лет, пока я работал в бюро известной распространительной французской фирмы «Ашет». Трудно было также – работавшим – постоянно «перевосплащаться» из «трудящегося» в «писателя» или в «поэта» и обратно”.²

Особенно тяжело приходилось прозаикам. Ведь, как известно, для того чтобы написать крупную вещь, например роман – наиболее востребованный на литературном рынке жанр, – требуется не только досуг, но и уединение, хотя бы временное освобождение от необходимости зарабатывать на хлеб насущный. Такой возможностью обладали немногие счастливчики. Прожить на литературные заработки эмигрантскому писателю было невозможно. В эмиграции даже авторы с мировым именем (Бунин, Мережковский, Шмелев) едва сводили концы с концами. Гонорары за журнальные публикации были мизерными; издательский бизнес после кратковременного расцвета начала 1920-х годов дышал на ладан. Издать книгу начинающий писатель мог разве что за свой счет – прекрасно понимая, что в условиях всеобщего обнищания потенциальных читателей затраты не окупятся.

Положим, новичкам в литературе всегда было нелегко, и пробиться на вершины литературного Олимпа дано далеко не всем. Однако могли ли даже самые талантливые и пробивные писатели поколения “эмигрантских сыновей” мечтать о стартовых условиях, созданных, скажем, для их американских или английских сверстников, которые после двух-трех успешных книг становились вполне обеспеченными людьми? И речь идет отнюдь не о поставщиках легковесного чтива. И даже не о писателях, ставших светскими знаменитостями, вроде Фрэнсиса Скотта Фицджеральда или Эрнеста Хемингуэя. Вспомним, что даже такой “трудный” и явно некоммерческий автор, как Томас Вулф, получив Гуггенхаймовскую стипендию за дебютный

¹ Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956. С. 16–17.

² Терапиано Ю. По поводу незамеченного поколения // Новое русское слово. 1955. 27 ноября. № 15492. С. 8.

роман “Взгляни на дом свой, ангел” (1929), смог в течение года жить за пределами Соединенных Штатов и, путешествуя по Европе, спокойно работать над очередной нетленкой, которую, кстати, потом *целый год* шлифовал и отделявал редактор издательства “Скрибнерс”.

Иной удел был уготован молодым писателям русского зарубежья. За редким исключением они были лишены не только материального поощрения или психологической поддержки со стороны “старших”, но и живого читательского отклика.

“Выключенные из цепи поколений, они жили где-то вне истории, сбоку <...>. Непосредственно даны были только одиночество, бездомность, беспочвенность...” По всем статьям это было поколение неудачников, так и не нашедших дорогу к широкому читателю – в лучшем случае ставших кормом для историков литературы. Немногие удачи – Владимира Набокова или Нины Берберовой, под старость добившихся международной известности, – лишь подтверждают грустное правило. К тому же не будем забывать, что оба счастливица демонстративно отделяли себя от “эмигрантских сыновей”, да и были овеяны лучами славы лишь после того, как первый из русского писателя перековался в американского, а вторая опубликовала английский перевод своей автобиографии “Курсив мой”.³⁴

В 1990-е годы, на излете книжного бума, посмертного признания удостоились еще два представителя “незамеченного поколения”: “монпарнасский царевич” Борис Поплавский и Гайто Газданов. Пусть их известность не перешла за границы России, зато на родине они стали, что называется, “культовыми авторами” для литературных гурманов.

Судьба Василия Яновского сложилась менее счастливо. О его произведениях в разные годы весьма сочувственно отзывались такие литературные тяжеловесы, как Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, Уистен Хью Одэн и Сергей Довлатов, однако имя Василия Яновского по-прежнему “до странности мало говорит современным русским читателям”, хотя он – цитирую довлатовское предисловие ко второму изданию “Полей Елисейских” – “бесспорно принадлежит к числу самых талантливых, глубоких и уж во всяком случае – наиболее оригинальных прозаиков первой эмигрантской волны”.⁵

Со времени, когда Довлатов писал свой хвалебный отзыв о “Полях Елисейских”, прошло тридцать лет, но с тех пор мало что изменилось в писательской репутации Василия Яновского. Даже во время кратковременного всплеска интереса к литературе русского зарубежья, пришедшегося на конец восьмидесятых – первую половину девяностых, произведения писателя не заинтересовали издателей и редакторов толстых журналов и не нашли широкого отклика среди литературоведов.

Практически незамеченным прошло и двухтомное собрание его сочинений, при моем скромном участии выпущенное в 2000 году. Характерно, что даже спустя *три года* автор статьи о Яновском, вошедшей в биобиблиографический словарь, не только не включил двухтомник в пристатейную библиографию, но и ничтоже сумняшеся заявил: “«Поля Елисейские» – это единственная пока книга писателя, изданная на родине”.⁷

По-прежнему один из самых оригинальных прозаиков первой эмигрантской волны, написавший более десяти романов, множество рассказов, публицистических статей и эссе, известен пока лишь как автор одной-единственной книги: “скандальных” воспоминаний “Поля Ели-

³ *Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. С. 183.

⁴ *The Italics are Mine*, 1969.

⁵ *Довлатов С.* Против течения Леты // *Яновский В.С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 5.

⁶ *Яновский В.С.* Собрание сочинений: в 2 т. / предисл., сост. Н. Мельникова, примеч. Н. Мельникова, О. Коростелева. М.: Гудьял-Пресс, 2000.

⁷ *Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь* / под общ. ред. Н.Н. Скатова. М., 2003. С. 811.

сейские”, давно расхвачанных на цитаты специалистами по литературе русского зарубежья. И прежде чем мы перейдем к ней – несколько слов о творческом пути ее создателя.

* * *

Покинув Россию четырнадцатилетним подростком, проведя всю свою жизнь на чужбине, перейдя в конце своей писательской карьеры на английский, Василий Яновский вынес из России “ровно столько, чтобы отравить себе безмятежное существование на трезвом Западе” и навсегда остаться глубоко русским человеком, сохранившим верность великой русской культуре и русскому языку, тому “звучному и варварскому, мощному и необъезженному языку”, на котором написаны лучшие его произведения.

Первые прозаические опыты Яновского относятся ко времени его пребывания в Варшаве, куда он прибыл в 1922 году, нелегально перейдя вместе с отцом и двумя сестрами советско-польскую границу. В Польше он пишет несколько рассказов, в том числе и “Рассказ о трех распятых и многих оставшихся жить” – о разбойнике Варавве, счастливо избежавшем распятия на кресте.

В 1926 году начинающий писатель переезжает во Францию и поселяется в Париже – городе, которому суждено было сыграть особую роль в его судьбе. До конца жизни с щемящим чувством ностальгии он вспоминал неповторимую атмосферу Парижа двадцатых-тридцатых годов – тот магический воздух свободы, “который так потрясает для русской души и в то же время кажется нам родственным”.⁸

Вскоре после переезда во Францию Яновский втягивается в бурную жизнь русского литературного Парижа: сближается с поэтами-монпарнасцами Борисом Поплавским, Валерианом Дряхловым, Виктором Мамченко, Павлом Бредом (этот экзотический псевдоним принадлежал весьма эксцентричному поэту-дилетанту Павлу Горгулову, который прославился не своими стихами – откровенно бездарными, судя по единодушным отзывам современников, – а бессмысленным убийством французского президента Поля Думе`ра); выступает с чтением своих произведений на литературных собраниях Союза молодых писателей и поэтов и разного рода художественных вечерах; становится постоянным автором журнала “Числа”, ставшего рупором эмигрантской молодежи; заводит знакомства среди эмигрантских писателей “старшего” поколения. Особенно значимым для начинающего писателя было знакомство с Георгием Викторовичем Адамовичем, общепризнанным законодателем мод на Монпарнасе, мэтром молодых парижских литераторов, которого, как позже подчеркивал Яновский, “в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы”. Критические статьи и эссе Адамовича, с их апологией “человеческого документа” и неприязнью к формалистическим “вывертам”, безусловно, во многом сформировали эстетическое сознание начинающего прозаика.

Не менее важным для Василия Яновского было и общение со сверстниками, молодыми русскими литераторами, завсегдатаями монпарнасских кафе, готовыми до утра рассуждать о блаженном Августине, Достоевском, Блоке, о “Закате Европы” Шпенглера, яростно спорить, перескакивая с одной темы на другую, о литературных новинках, свежем “четверговом” выпуске “Последних новостей”, о политике, религии, философии, России и пр., и пр.

Активно участвуя в литературной жизни русского Парижа, Яновский поступает на медицинский факультет Сорбонны (в 1937 году он получает степень доктора медицины). До конца жизни прозаик совмещал писательскую деятельность с врачебной практикой. Выбранная профессия повлияла на формирование творческого “я” писателя, пожалуй, не меньше, чем философские труды высоко почитаемых им Николая Федорова и Анри Бергсона или проза Селина

⁸ Необыкновенное десятилетие (интервью с В. Яновским) // Антология Гнозиса: в 2 т. Т. 1. СПб., 1994. С. 335.

и Кафки. Врачебный опыт наложил глубокий отпечаток на многие произведения Яновского и обусловил характерные особенности его творческой манеры: откровенные, без боязни слов натуралистические описания, пристальное внимание к физиологии человека (то, что в рецензии на одну из книг Яновского Михаил Осоргин назвал “клиническим нецеломудрием”), жесткая правдивость в освещении таких сторон человеческой жизни, как насилие, голод, страх, физические страдания, парализующие духовное “я” человека, и т. п.⁹

Эти черты уже в полной мере проявились в автобиографической повести “Колесо”, одной из главных тем которой стала “спокойная, бесстрастная жестокость мира”, безжалостно калечащая людские судьбы. В 1930 году, при содействии Михаила Осоргина, повесть вышла отдельной книгой в издательстве “Новые писатели” и была переведена на французский язык, получив заглавие “Sachka L’Enfant qui a Faim”. В центре повествования “Колеса” – судьба рано осиротевшего мальчика Саши, как и тысячи его сверстников, ввергнутого в кровавый хаос Гражданской войны. Обреченный, в условиях всеобщего одичания и разгула низменных страстей, на отчаянную борьбу за существование, он не раз оказывается в критических ситуациях, из которых далеко не всегда выходит без внутренних потерь. Так, например, доведенный до крайней нужды, он связывается с компанией карточных шулеров, а один раз чуть не совершает убийство с целью ограбления. Как отмечал один из рецензентов, “инстинкт звериного самосохранения душист человеческие порывы его мягкой и в известном смысле даже музыкальной души”. Однако, несмотря на все жизненные тяготы и потрясения, несмотря на постоянные столкновения с людской подлостью и жестокостью, мучительно взрослеющий герой “Колеса” преодолевает в себе низменное, животное начало и, наряду с “каким-то смутным стремлением пострадать за правду”, сохраняет человечность и веру в добро.¹⁰¹¹

Теме людского страдания – одиночества, нищеты, нравственной деградации в условиях одуряюще монотонного труда за кусок хлеба – посвящены довоенные рассказы Яновского “Тринадцатые”, “Документ”, “Рассказ медика”, “Розовые дети”, “Вольно-американская” и роман “Мир” (Берлин, 1931). В них “с кропотливой и безжалостной правдивостью” (по выражению Г. Адамовича) повествуется о беспросветном существовании опустившихся русских эмигрантов, после разрыва с родиной не сумевших найти себе место в жизни и затерявшихся в “сорных лабиринтах” большого современного города (в обобщенном образе которого едва угадываются черты Парижа).

Роман “Мир” и большинство рассказов исполнены отчаяния, пронизаны нигилистическим отрицанием “бессмысленного балагана” жизни; критики отмечали в них многочисленные психологические неувязки, “нарочитость физиологических нагромождений” и, главное, постоянные срывы в стиле. Все это создало писателю репутацию последователя Арцыбашева и Леонида Андреева, не способного к глубокому осмыслению и творческому преображению действительности, у которого “ткань искусства все время рвется, и сквозь нее проступает быт, жизнь, сырой материал”.¹²¹³

Этой нелестной репутации Яновский обязан и весьма сдержанным приемом следующей книги писателя, повести “Любовь вторая” (Париж, 1935). В ней он попытался преодолеть трагическую безысходность прежних писаний, взяв тему религиозного преображения. По общему приговору рецензентов (отметивших “напористую талантливость”, “внутреннюю серьезность”, “сердечную правдивость и глубокую человечность”, с которой была написана повесть), с темой этой Яновский не справился – прежде всего потому, что духовное просвет-

⁹ Мих. Ос. [Осоргин М.] Рец.: “Любовь вторая” // Последние новости. 1935. 11 июля. № 5222. С. 3.

¹⁰ Зайцев К. “Новые писатели” о советских детях // Россия и славянство. 1930. 22 февраля. № 65. С. 3.

¹¹ Там же.

¹² Савельев А. [Шерман С.] Рец.: “Любовь вторая” // Современные записки. 1936. № 62. С. 444.

¹³ Адамович Г. Современные записки. Кн. 53. Часть литературная // Последние новости. 1933. 2 ноября. № 4607. С. 2.

ление главной героини (бедной девушки-эмигрантки, прошедшей суровую жизненную школу одинокого и полунищего существования на чужбине) было изображено психологически неубедительно и оставляло впечатление авторского насилия над материалом. “Религиозный экстаз героини Яновского едва ли обоснован с достаточной художественной убедительностью. Правда, тема религиозного возрождения – чрезвычайно трудная, не удавшаяся даже таким великим мастерам, как Достоевский: выхода нет, но герой берет Евангелие и с ним уходит – за пределы литературы. Неуловимая граница между художественным творчеством и религиозной тенденцией стирается, а между тем именно в умении найти здесь тончайшую меру и должно заключаться искусство”.¹⁴¹⁵¹⁶

Тем не менее “Любовь вторая” ознаменовала перелом в художественном сознании и мировоззрении писателя, отразила его стремление выйти из тупика бесплодного нигилизма и потребность “обрести нечто, не убегающее, не скользящее вместе со всей окружающей мнимой действительностью”, найти “спасительный клапан, пусть мнимый, но всё же дающий людям возможность существовать”.¹⁷

Подобным “спасительным клапаном” для Яновского стала его деятельность в религиозно-философском обществе “Круг”, которое было организовано в 1935 году по инициативе И.И. Фондаминского, мечтавшего о возрождении духовного союза русской интеллигенции и основании “Ордена воинов-монахов, пламенно верующих в правду христианского учения и готовых на жертву и подвиг для освобождения России”.¹⁸

Как и замышлял Фондаминский, “Круг” стал местом встречи двух эмигрантских поколений и в какой-то степени помог преодолеть отчуждение “эмигрантских сыновей” – литераторов-монпарнасцев, увлеченных учением гностиков и склонных “толковать христианство в духе восточного дуализма, отрицающего мир и историю”, – от “отцов”, среди которых тон задавали близкие “Новому граду” Г.П. Федотов, К.В. Мочульский, мать Мария, Н.А. Бердяев и другие мыслители, исповедующие идеалы социально активного, творческого христианства.¹⁹

Идеологические установки “Круга” и “Нового града”, равно как и философские концепции Анри Бергсона и Н.Ф. Федорова (знакомство с работами этих мыслителей оказало огромное влияние на мировоззрение писателя), легли в основу наиболее значительного довоенного произведения Василия Яновского, романа “Портативное бессмертие”. Рассказывая о борьбе идеального содружества (полумонашеского ордена Верных) – ни много ни мало – за нравственное возрождение человечества и установление Царства Божия на земле, автор романа затронул важную проблему: о способах достижения этой цели. Один из Верных, “современный Савонарола” Жан Дут, изобретает особые омега-лучи, лучи любви: при попадании в зону их действия все живое “подвергается чудесному влиянию, претерпевает райское изменение”. Однако у Жана Дута и его единомышленников, считающих, что наука и техника могут и должны способствовать установлению царства божественной гармонии и всеобщего счастья, появляется яростный противник, член того же общества Верных Свифтсон. С точки зрения Свифтсона и немногих его сторонников, для утверждения христианских идеалов нельзя пользоваться никакими другими методами, кроме религиозной проповеди: настоящее духовное преображение человечества возможно лишь с помощью самостоятельной внутренней работы каждого человека. Механическое воздействие на человеческую душу (пусть и осуществляемое с благими намерениями) воспринимается им как насилие, лишаящее человека свободной воли. Как про-

¹⁴ Осоргин М. Рец.: “Любовь вторая” // Последние новости. 1935. 11 июля. С. 3.

¹⁵ Ходасевич В. Рец.: “Любовь вторая” // Возрождение. 1935. 22 августа. С. 3.

¹⁶ Волошин Г. Рец.: “Любовь вторая” // Современные записки. 1935. № 59. С. 476.

¹⁷ Повесть Яновского цитируется по журнальной публикации: Современные записки. 1933. № 53. С. 29, 132.

¹⁸ Бунаков И. [Фондаминский И.] Пути освобождения // Новый град. 1931. № 1. С. 47.

¹⁹ Варшавский В.С. Незамеченное поколение. С. 294.

ницательно указывал Владимир Варшавский: “Это осуждение опыта Жана Дута равняется, в сущности, осуждению всей демократической и технологической цивилизации, так как несомненно, что под видом чудодейственных лучей в романе аллегорически изображен современный машинизм, способный при соответствующей социально-нравственной реформе привести не к «производству» любви, конечно, а к устранению материальных препятствий, обрекающих людей на подчинение законам звериного существования и мешающих освобождению любви, заложенной в глубине сердца каждого человека”.²⁰

Стоит отметить, что трогательно-беспомощная утопия о преображении человечества “лучами любви”, воскрешающая в памяти ветхозаветные пророчества Исаяи о грядущей на нашей многогрешной земле абсолютной гармонии: о волке, мирно лежащем возле ягненка, младенце, беспечно играющем над норой аспиды, – захватывает лишь периферию сюжета “Портативного бессмертия”. В центре авторского внимания – мятущаяся душа неприкаянного русского эмигранта, представителя “святого рыцарства” мечтателей, “шатунов-неудачников, художников”, мучительно переживающего ущербность своего одинокого “я”, утратившего смысл жизни, покинутого среди враждебно-равнодушного мира “других”, человека кризисной предвоенной эпохи, подсознательно ощущающего симптомы близкой катастрофы привычного мироуклада.

И философская проблематика, и формально-композиционные особенности романа свидетельствуют о возросшем писательском мастерстве Яновского, сумевшего творчески усвоить и переработать разнородные литературные влияния. По мрачному колориту отдельных эпизодов, показывающих конвульсии большого города (символ бездуховной европейской цивилизации XX века) и призрачную, бессмысленную жизнь его обитателей, задавленных рутинной монотонного труда и убожеством обывательского быта, “Портативное бессмертие” родственно многим выдающимся произведениям французской литературы того времени, прежде всего романам “Путешествие на край ночи” Л.-Ф. Селина и “Тошнота” Ж.-П. Сартра.

Из русских произведений, не только созвучных тематике “Портативного бессмертия”, но и повлиявших на его генезис, стоит отметить в первую очередь романы Ф.М. Достоевского, Бориса Поплавского (“Аполлон Безобразов”, “Домой с небес”) и скандально прогремевшую в литературном мире русского Парижа “поэму в прозе” Георгия Иванова “Распад атома”. С произведениями Поплавского и Иванова роман Я²¹новского роднят бесфабульное построение, мощная лирическая стихия, обилие эмоциональных монологов и философских медитаций героя-повествователя. Его раздумья и воспоминания, сопровождающиеся прихотливыми ассоциативными скачками, растворяют в себе приметы конкретной реальности, неимоверно расширяя духовные координаты пространства и времени, сопрягая в единое целое сиюминутные впечатления и образы далекого прошлого.

Роман “Портативное бессмертие” появился в печати перед самой войной и, по сути, остался не замеченным и эмигрантскими читателями, и критиками: “тень Гитлера уже падала за Рейн”, “в воздухе пахло кровью”, и русскому литературному Парижу, доживавшему свои последние дни, было совсем не до утопий о младенце и аспиде, мирно уживающихся друг с другом.

²⁰ Там же. С. 265.

²¹ О влиянии художественного мира Достоевского на автора “Портативного бессмертия” писал Г. Адамович, откликнувшийся на нью-йоркское издание романа: “Тень Достоевского витает над этой книгой. Насколько мне помнится, Яновский Достоевского недолюбливает и признать себя его учеником отказался бы. Литературной преемственности и в самом деле нет. Но есть связь эмоциональная, и, когда Яновский пишет, например, о двух вертикальных складках над глазами Лоренсы, при виде которых хотелось «неутешно зарыдать и в чем-то покаяться», ряд схожих замечаний Достоевского, со столь же характерным для него страдальческим восприятием физической прелести, проходит в памяти: «узкий мучительный следок» и прочее, в том же роде” (Новое русское слово. 1953. 24 мая. № 15002. С. 8).

Во время Второй мировой войны Василий Яновский навсегда покидает Европу. За день до подхода немцев, 12 июня, писатель уезжает из обреченного Парижа. Ему удалось перебраться на территорию свободной зоны, в Монпелье, далее – в Касабланку (Марокко), откуда в июне 1942 года на борту португальского парохода он вместе с супругой Полиной (урожд. Перельман) и малолетней дочерью отплывает в США.

Очутившись в Америке, Яновский, как и многие русские эмигранты, приехавшие туда из залитой кровью Европы, был, по его собственным словам, “потрясен”: настолько разительно отличались привычки, психология, образ жизни и культурные традиции американцев от европейских (а тем более русских!). “В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен, – пишет Яновский в своей «книге памяти» «Поля Елисейские». – Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы”.

Вакуумное состояние интеллектуального одиночества, в котором подобно многим русским эмигрантам оказался Яновский, помогла преодолеть работа в екуменическом обществе “Третий час”, возглавляемом известным публицистом русского зарубежья Еленой Александровной Извольской. Вместе с Извольской, теософом Ирмой де Манциарли, композитором Артуром Лурье и бывшим лидером “младороссов” Александром Казем-Бекем (после войны уехавшим в СССР и благополучно устроившимся там при Московской патриархии) Яновский принял активное участие в организации этого религиозно-философского общества. С 1946 года при “Третьем часе” выходил одноименный журнал, в котором было опубликовано несколько статей Яновского (в журнале также печатались работы Н.Ф. Федорова, Н.А. Бердяева, Пьера Тейяра де Шардена, Жана Маритена и других выдающихся европейских мыслителей). “Общая ревизия ценностей” коснулась и личной жизни писателя. Вскоре по прибытию в Новый свет он расстается с женой и связывает свою судьбу с Изабеллой Михайловной Левиной (урожд. Гольдбиндер; 1913–2004).

Зарабатывая на жизнь медициной, Яновский не переставал писать художественную прозу. Правда, почти все его вещи, написанные в Америке, ждала трудная издательская судьба. Из-за яростных нападок многих сотрудников “Нового журнала” на роман-притчу “Американский опыт” главный редактор, Михаил Карпович, вынужден был приостановить его публикацию, которая в результате растянулась почти на три года. Отдельной же книгой роман вышел только в 1983 году в нью-йоркском издательстве “Серебряный век”.²²

Не лучшей была участь и других произведений Василия Яновского.

“Портативное бессмертие”, выпущенное в 1953 году “Издательством имени Чехова”, вызвало незаслуженно пренебрежительные отзывы эмигрантских критиков, один из которых, В.А. Рудинский, назвал роман “претенциозной, пошлой и антихудожественной книжкой” (при этом, разумеется, не утруждая себя хотя бы элементарным анализом, подтверждающим подобную оценку) и высказал мнение, что для издательства и для литературной репутации писателя “было бы лучше, если бы этот опус не появлялся в свет”. Когда же “Издательство имени Чехова” закрылось и права на его книги перешли к издательству “УМСА-Press”, нераспроданный тираж “Портативного бессмертия” был сожжен. Роман “Заложник”, с большими сокращениями напечатанный в “Новом журнале” (1960. № 60, 61; 1961. № 62, 63), так и не был опубликован полностью и к тому же не нашел положительного отклика в эмигрантской прессе. Роман “По ту сторону времени” (первоначальное название, по имени главного героя, “Корней Ямб”) и вовсе был отвергнут редактором “Нового журнала” Романом Гулем и в результате впервые вышел в английском переводе.^{23,24}

²² См.: Новый журнал. 1946. № 12–14; 1947. № 15; 1948. № 18, 19.

²³ В. Р. [Рудинский В. А.] Рец.: “Портативное бессмертие” // Возрождение. 1957. № 63. С. 125.

²⁴ No Man’s Time. N.Y., 1967; пер. на англ. И.М. Яновской и Р.Н. Пэррис. На русском роман впервые опубликован в “Новом

Неслучайно относительно недавно опубликованные фрагменты из дневников Яновского поражают обилием lamentаций вроде: “Опять на распутье. Печатаю отрывки «Заложника». Ни отзвука” (26 января 1961 года); “Год как дал Гулю роман – нет ответа. Господи, покарай хама!” (19 декабря 1962 года); “Гуль позвонил вечером. Отказал печатать «Корнея Ямба». Что же это такое?” (1 октября 1963 года); “На каком языке писать? Для какого читателя? Для какого издателя?” (22 февраля 1964 года); “Нищета, негритянки: не хотят платить. Статейка моя тоже брошена мне назад в морду... Роман швыряют назад. Русский писатель без языка, без читателя, без издателя. Американский доктор среди бушменов; христианин без благодати. Хочется отстраниться (навсегда и от всего!)” (30 июля 1964 года).²⁵

Вероятно, творческие неудачи Яновского были обусловлены не только внешними причинами – эстетической глухотой издателей и главного редактора “Нового журнала”, кознями завистников, отсутствием “культурного русского читателя” и проч., – но и сугубо внутренними: слишком часто проповедник и мыслитель, устремляющийся к горным высям, брал в нем верх над художником; слишком часто в его романах (в том же “Заложнике”) автор увлекался философскими отступлениями, напрямую не связанными с сюжетным действием; слишком часто под их грузом “рвалась ткань искусства” (вспомним давний упрек Адамовича), и сквозь нее проступали жесткие умозрительные схемы, и герой в очередной раз уходил за пределы литературы, держа в руках Евангелие или томик Федорова. “По временам кажется, что Яновскому хочется смести все границы между наукой, верой и искусством, синтезировать их, создать из них нечто единое, целое, неделимое. В «Заложнике» это оказалось ему не под силу”, – диагноз, данный в рецензии В. Завалишина на злополучного “Заложника”, применим и к романам Яновского, опубликованным на английском языке.²⁶

В шестидесятые годы, убедившись в полном отсутствии “своего” русского читателя, он, по примеру Владимира Набокова, попытался завоевать американского читателя и опубликовал англоязычный перевод романа “По ту сторону времени”, ранее отвергнутого Романом Гулем. Ни этот роман, ни последующие книги – романы “Of Light and Sounding Brass” (N.Y., 1972; русская версия – “Ересь нашего времени”) и “Be²⁷λικое переселение” (The Great Transfer. N.Y., 1974), документально-публицистические книги “Темные поля Венеры. Из записок врача” (The Dark Fields of Venus: From a Doctor’s Logbook. N.Y.: Harcourt, 1973) и “Медицина, наука и жизнь” (Medicine, Science and Life. N.Y., 1978) – сенсацией не стали и имели весьма умеренный успех у американских читателей. Как признался в одном из интервью сам Яновский, его книги были “не в их духе, не в их потоке. Они крутят этот объект или субъект, который я фабрикую, они сомневаются, роман ли это, рассказ ли это, то, что я пишу, что с ним делать, есть ли его, нюхать ли?”^{28,29}

Завоеванию американского рынка не помогли и хвалебные отзывы даже такого литературного гуру, как Уистен Хью Оден (Яновский не только дружил с ним, но и был его лечащим врачом).³⁰

Главная причина неуспеха, как и прежде, заключалась в неумении гармонично соединить образно-символический язык художественной прозы с глубокими мировоззренческими

журнале” (1987. № 166–170).

²⁵ Новый журнал. 1999. № 214. С. 137, 143, 148.

²⁶ Завалишин В. Литература и чувство нового // Новое русское слово. 1961. 7 сентября. С. 2.

²⁷ Новый журнал. 1995. № 198/199, 200; 1996. № 201, 202.

²⁸ Так по-английски называется тест на сифилис, так что один из возможных вариантов перевода, куда менее поэтичный, это – “Реакция Вассермана”. Написанная в разгар сексуальной революции, книга посвящалась проблеме венерических заболеваний, весьма актуальной для тогдашней “доСПИДовой” Америки. Об этой проблеме В. Яновский мог судить не понаслышке, поскольку долгое время работал врачом-венерологом в одной из нью-йоркских клиник.

²⁹ Необыкновенное десятилетие (интервью с В. Яновским) // Антология Гнозиса. В 2 т. Т. 1. СПб., 1994. С. 332.

³⁰ В частности, Оден написал предисловие к роману “По ту сторону времени” и благожелательную рецензию на “Темные поля Венеры” (Veni, Vici, VD // New York Review of Books. 1973. February 22. P. 34).

обобщениями и памфлетно-публицистическими отступлениями на животрепещущие социально-политические и нравственно-философские темы. Завороженный метафизическими безднами и увлекательными философскими теориями, уверенный в том, что “проза должна все время загигать в другую, чуждую ей среду”, автор часто забывал о достоверных сюжетных мотивировках и психологически убедительных характерах – без чего романы рассыпались и превращались в иллюстрацию того или иного философского тезиса.³¹

Обладая острой наблюдательностью, способностью к анализу и философским обобщениям, Яновский упорно стремился реализовать свой творческий потенциал в рамках романа, в то время как его таланту были соприродны средние и малые жанровые формы: повесть, рассказ, эссе, очерк – особенно последние два, выходящие за пределы “литературы вымысла”. Яновскому не хватало воображения для того, чтобы *выдумывать* запоминающихся героев, зато он обладал даром подмечать их в действительности и удивительной памятью; недостаток фантазии он компенсировал способностью детального воссоздания виденного, а также глубиной и силой переживаний, напряженным лиризмом. Неслучайно его лучшие вещи – дебютная повесть “Колесо”, “Портативное бессмертие” и опубликованная в 1957 году повесть “Челюсть эмигранта” (Нью-Йорк) – построены на автобиографическом материале.

Среди послевоенных произведений Яновского повесть “Челюсть эмигранта” занимает особое место: в ней были выработаны композиционные и повествовательные принципы его прославленных мемуаров “Поля Елисейские”.

Подобно “Портативному бессмертию”, она представляет собой образчик лирико-философской прозы, не скованной сквозной сюжетной интригой. И если в романе фабульные, причинно-следственные элементы, пусть и в предельно размытом виде, все же имели место, то здесь повествование развивается по принципу свободных ассоциативных скачков и ретроспективных временных переходов; внешне хаотичное, оно сохраняет цельность только благодаря эмоционально-психологическому единству авторского сознания, нашедшего воплощение в условной фигуре главного героя. Дистанция между ним и автором минимальна. Сам “тон повествования, запальчиво-страстный, возбужденный, насмешливо-гневный, обмануть не может: так люди говорят только о себе”.³²

Как и предыдущие произведения Яновского, “Челюсть эмигранта” отличается глубиной философской проблематики и напряженностью ярко выраженных мирозерцательных и религиозных устремлений автора, развивающего, под влиянием философских взглядов А. Бергсона о времени, концепцию “линейной” и “вертикальной” памяти. “Линейная память – это то, что связано с ассоциациями непосредственно. Вы видите, например, красный цветок, и вы вспоминаете красное бальное платье, скажем, любимой девушки. Это все линейная память, которая никуда не ведет. В общем, память Пруста, связанная с ассоциациями. <...> Вертикальная память – это тоже память ассоциативная, но ассоциации здесь из какой-то тайной, оккультной жизни, которую душа вела, может быть, до настоящего существования. Мне не хочется входить в вульгарные теософские сферы, и я не об этом говорил и думал, но я считаю, что есть какое-то воспоминание, как бы сказать, начальное воспоминание, то, что я называю Протопамятью. Где-то у меня сказано, что Протобог создал Протомир из Протопамяти. Память – это София, Святая София, Премудрость Божья, в конце концов связанная с Логосом”, – так пояснял Яновский свое понимание “двойной” памяти в интервью журналу “Гнозис”.³³

³¹ Яновский В.С. Челюсть эмигранта. Цит. по: Новый журнал. 1957. № 50. С. 73.

³² Адамович Г. “Челюсть эмигранта” – повесть В. Яновского // Новое русское слово. 1957. 8 декабря. № 16234. С. 8.

³³ Необыкновенное десятилетие (интервью с В. Яновским) // Антология Гнозиса. С. 333.

Концепция “вертикальной памяти”, родственная платоновскому учению об анамнезисе, была реализована и в лучшей книге Василия Яновского – его знаменитых мемуарах “Поля Елисейские”.

* * *

Писатели первой волны эмиграции обогатили русскую литературу множеством произведений мемуарно-автобиографического жанра, в которых в разной степени представлены исповедальность, художественный вымысел и документальная точность. На одном полюсе здесь – “романизированные автобиографии” Ивана Бунина (“Жизнь Арсеньева”) и Владимира Набокова (“Другие берега”), беллетризованные мемуары Георгия Иванова “Петербургские зимы”, в которых, по признанию автора, “семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять – правды”, и дилогия Ирины Одоевцевой “На берегах Невы” и “На берегах Сены”; на другом – монументальная книга Романа Гуля “Я унес Россию – апология эмиграции”, благодаря информативности и богатству фактического материала признанная критиками “энциклопедией русской жизни за границей” (М. Адамович), “одним из основных источников по истории эмиграции” (О. Коростелев).³⁴

“Поля Елисейские”, воскрешающие атмосферу русского Парижа межвоенного двадцатилетия, сочетают различные жанровые формы: это и яркие литературные портреты писателей русского зарубежья, и летопись интеллектуальной жизни русского Парижа, и, конечно же, апология “незамеченного поколения” – реквием по “русским мальчикам”, волею судьбы выброшенным за пределы отчизны, самой историей обреченным на одиночество и безвестность. По словам современной исследовательницы, мемуары Яновского, так же как и книгу его приятеля Владимира Варшавского “Незамеченное поколение”, одухотворяет “стремление рассказать о своем поколении, ощущаемое как исторический долг”, их объединяет “потребность сделать его «видимым» и «слышимым» для последующих поколений, ясно осознанная необходимость соотнести уникальный опыт «эмигрантских детей» с русской культурной традицией и определить его место в Большой истории”.³⁵

Далеко не случайно, что Яновский принял за свои воспоминания в 1957 году – после того как в эмигрантской прессе отгремела полемика по поводу книги Варшавского, в которой впервые был концептуально осмыслен феномен поколения “эмигрантских сыновей”. Некоторые представители “старшего поколения” (в частности, Е. Кускова и М. Слоним) упрекали Варшавского за излишнюю драматизацию положения молодых писателей эмиграции. “Охочий до журнальной драки” Яновский был одним из немногих представителей этого поколения, кто ввязался в спор со “старшими” и, отменяя упреки Слонима и Кусковой, пропел осанну молодой эмигрантской литературе, назвав ее “одним из оставшихся островков великого христианского гуманизма”. Полная преувеличений, исполненная полемического задора статья³⁶ “Мимо незамеченного поколения”, по сути, стала зародышем “Полей Елисейских”, книги, которую можно рассматривать как попытку идентификации (а отчасти и мифологизации) целого поколения.

Неизбежным следствием этого творческого посыла стали постоянные критические атаки на зубров эмигрантской литературы: Алданова, Бунина, Мережковских и др.

В силу ряда субъективных и объективных причин Яновский и его сверстники (“подстарки” – насмешливо называла их Зинаида Гиппиус) долгое время находились в тени авторов “старшего” и “среднего” поколений, что не могло не вызывать чувства обиды и ревности. К

³⁴ Так определил жанровое своеобразие книги Глеб Струве (*Struve G. The Art of Ivan Bunin // The Slavonic Review. 1933. Vol. XI. № 32 (January). P. 429*).

³⁵ Демидова О. Мемуарная проза “незамеченного поколения” // Литературоведческий журнал. 2008. № 22. С. 153.

³⁶ Яновский В. Мимо незамеченного поколения // Новое русское слово. 1955. 2 октября. № 15436. С. 5.

тому же Яновский, судя по всему, обладал весьма резким и независимым характером, часто рубил правду-матку не только “младшим”, но и “старшим” собратям по перу, что, конечно же, не вызывало у них восторга и не способствовало успеху его писательской карьеры. Порой он вел себя и вовсе непочтительно по отношению к литературным мэтрам, играя в русском Париже роль *enfant terrible*. Даже толерантный Адамович вспоминал в одном из писем Яновскому (от 7 июля 1946 года): “...я в первое время злился, когда Вы подходили во время бриджа и, не здороваясь, спрашивали: «Ну что, шляпы?»”³⁷

Неудивительно, что и в своей “книге памяти” Яновский далек от благоговейного трепета перед “литературными генералами” и выступает не столько в роли бесстрастного летописца “необыкновенного десятилетия” литературной и культурной жизни русского Парижа, сколько в качестве темпераментного полемиста и критика, смело уничтожающего идеологические догмы и устоявшиеся литературные репутации.

“Поля Елисейские” населены отнюдь не блаженными небожителями, а живыми людьми, со всеми их слабостями и недостатками. Верный вольтеровскому принципу “Об умерших – только правду”, Яновский дает нелицеприятные характеристики многим именитым литераторам – Алексею Ремизову, Георгию Иванову, Марине Цветаевой, Владимиру Набокову, – от чего, на мой взгляд, его мемуары только выигрывают: мы ведь хорошо знаем, что великие книги вовсе не обязательно пишутся великими людьми и что “среди детей ничтожных мира” выдающиеся поэты и прозаики далеко не всегда предстают в выигрышном свете.

Безусловно, далеко не со всеми суждениями мемуариста мы можем согласиться. Некоторые его критические приговоры могут показаться излишне суровыми, иные характеристики – откровенно тенденциозными. Однако при всех перегибах и искажениях “личной перспективы” автора мемуаров сложно обвинить в том, что его главная цель – сведение личных счетов и самоутверждение на обломках чужих репутаций (чем грешат язвительные “Воспоминания” Ивана Бунина, автобиография Нины Берберовой “Курсив мой” или исполненная тяжелой злобы “Вторая книга” Надежды Мандельштам). От эгоцентричных книг “литературных вдов” “Поля Елисейские” выгодно отличаются тем, что Яновский почти никогда не выставляет себя на первый план в качестве главного героя. Как правило, он дистанцируется от “себя в прошлом”, переходя от первого к третьему лицу (подобно таким знаменитым мемуаристам, как Юлий Цезарь, герцог де Ларошфуко и Наполеон I).

Свое “я” автор раскрывает опосредованно: не только в метких характеристиках персонажей, но и в многочисленных лирических и философских отступлениях, размывающих строгие жанровые рамки воспоминаний. Мемуарист то и дело оборачивается оригинальным мыслителем, для которого образы прошлого зачастую служат лишь отправным пунктом для колкого публицистического выпада или философского размышления о глобальных проблемах человеческого бытия.

Таким образом, мы должны смириться с очевидным фактом: “мемуары” – понятие, с трудом применимое к “книге памяти” Василия Яновского, которая, помимо своей историко-литературной ценности, представляет интерес прежде всего как образец замечательной, изящно-раскованной русской прозы, не считающейся с традиционными жанровыми канонами и подчиняющей прошлое “законам искаженной (личной) перспективы”.

“Поля Елисейские” обладают той “особой степенью жизненной заразительности”, которая, как считал Павел Муратов, придает мемуарам художественную значимость и делает их интереснее любой развлекательной беллетристики: “Хороший мемуарист непременно должен быть наделен этим повышенным чувством жизни, которая выражается в его отношении, в подходе к вещам, людям и событиям. Он вовлекает нас кратчайшим путем в опыт иной жизни, который становится как бы нашим собственным опытом. Выбор и ритмика слов уступают здесь

³⁷ Адамович Г. Письма Василию Яновскому / публ. и прим. Вадима и Веры Крейд // Новый журнал. 2000. № 218. С. 124.

место выбору и ритмике запомнившихся, записанных, «восстановленных» моментов из той бесконечности их, из которой состоит всякая человеческая жизнь”.³⁸

И пусть тот же Муратов признавал, что “мемуары, даже прекраснейшие из них, <...> не принято называть произведениями искусства”, мы смело можем отнести “Поля Елисейские” к вершинным достижениям русской прозы второй половины XX века, которая, увы, не так уж часто баловала нас бесспорными шедеврами.

Николай Мельников

³⁸ Муратов П. Искусство прозы // Лепта. 1997. № 37. С. 205.

Поля Елисейские Книга памяти

Aux morts on ne doit que la verite.
voltaire ³⁹

*Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я буду
о мертвых повествовать как о живых.*
в. с. я.

I

*Мы с Доброй Надежды.
Мы с доброй надеждой
Тебя покидали.
Но ветер крепчал...*
борис поплавский

Великая русская эмиграция вымирает. Один за другим ушли, “сокрылись” классики и эпигоны. Кладбища распростерли свои братские объятия. Кто упокоился под Парижем или Ниццею, кто – за Нью-Йорком и в Калифорнии. Над прерией звучит призыв трубача: “И кому суждено будет во поле лечь, того Господь Бог помяни...”

Вот Бердяев в синем берете, седой, с львиною гривой, судорожно кусает толстый, коротенький, пустой мундштук для сигар. Вон Ходасевич нервно перебирает карты больными, обвязанными пластырем зелеными пальцами; Федотов пощипывает профессорскую бородку и мягким голосом убедительно картавит. Фондаминский, похожий на грузина, смачно приглашает нас высказаться по поводу доклада; Бунин, поджарый, седеющий, во фраке, с трудом изъясняется на одном иностранном языке.

Где они...

А между тем внутри себя я всех вижу, слышу, узнаю. Правда, я не могу больше пожать их теплые руки, прикоснуться к плоти, ощутить запах. Но нужно ли это?

Ведь такой нежности, которую я испытываю в настоящее время, такой боли и жалости я тогда, в пору общения, в себе не обнаруживал. Значит, смерть и время, отобрав одно измерение, прибавили другое... И теперешний образ всех наших бывлых спутников если и несколько иной, то отнюдь не менее реальный, не менее действительный.

Что остается на долю художника, продолжающего свою бесконечную тяжбу с необратимыми процессами? Воплотить в своей памяти этих собеседников вместе с вновь осознанным чувством боли, нежности!

И пусть эти живописания часто искривляются, подчиняясь законам искаженной (личной) перспективы. Чем больше таких откровенных, субъективных свидетельств, тем шершавее, грубее, быть может, образ, но и массивнее, полнее. Так два глаза, направленные под несколько различным углом, воспринимают отдельно предмет плоско, но воспроизводят его в конце концов объективно и выпукло, уже в трех измерениях.

³⁹ О мертвых – только правду. *Вольтер (фр.)*

По воскресным дням одно время молодые литераторы часто встречались за чайным столом у Мережковских. Выходили примерно к пяти часам все сразу и оседали на часок-другой в близком “извозчикьем” кафе. Продолжали ранее начатую беседу, а чаще сплетничали.

– Заметили, как бывший верховный главнокомандующий взял меня за пуговицу и не отпускал? – спрашивал Иванов, польщенный вниманием Керенского, но и считая долгом подчеркнуть свою независимость.

– А Закович по ошибке чмокнул руку Мережковского.

– И Мережковский ничуть не удивился, – подхватывал Поплавский, мастак на такого рода шутки.

Иногда я с Вильде усаживался за партию в шахматы; Кельберин следил за игрою, что, впрочем, не мешало ему принимать “живейшее” участие в болтовне. Рядом, на маленьком, “московском” бильярде с лузами подвизались Алферов с Мандельштамом: последний играл во все игры одинаково страстно и плохо; Фельзен сдержанно закуривал свою “желтую” папиросу в мундштучке и склонялся к уху соседа, улыбаясь как расшалившийся во время урока школьник; Червинской обязательно нужно знать, что он сказал Адамовичу, когда тот собирался уходить. Адамович, живший далеко, у Convention, уже убежал: он сегодня угощает обедом каких-то милых господ!

Оглядывая мысленно эту залу в зеркалах, ярко освещенную и в то же время мгlistую от табачного дыма, сотрясаемого смехом, возгласами и стуком бильярдных шаров, созерцая все это теперь, я поражаюсь, до чего ясно кругом проступали уже черты всеобщей обреченности. Мы часто хвалились умом, талантом, даром, но что земля уходит у нас из-под ног, Париж, Франция, Европа обваливаются в черную дыру – этого мы не желали разглядеть! А между тем пятна пара, оседавшие высоко на зеркалах, принимали какие-то подозрительные буквообразные очертания.

– В зале, где много зеркал, всегда чувство, точно сидишь на сквознячке! – смачно преподносил Бунин еще московскую находку. Такие штучки он ценил.

Мы с остатками упоения цитировали старого Блока с его мятежами, метелями и масками, восхищаясь пророчеством, а нового зарева над христианской Европой не разглядели вовремя. Впрочем, теперь мнится – все знали, только не осознавали этого.

Мы сидели в кафе в одинаковой позе, в одинаковой комбинации, с почти одинаковыми речами десятилетия, словно давая судьбе возможность хорошо прицелиться. И она жестоко ударила по нам.

Нет спору, жизнь была гораздо снисходительнее к людям старшего поколения и эпигонам. Они почти все успели отхватить кусок сладкого российского пирога. Сорвали дольку успеха, признания, даже комфорта. Потом, в эмиграции, они уже считались обер-офицерами – царского производства. Им давали пособия, субсидии из разных чехословацких, югославских или ИМКА фондов.

– Ах, Тэффи, ах, Зайцев, как же, как же!

Зимой 1961 года в доме поэта Уистена Одена я познакомился с одной милой культурной дамой, членом советской литературной миссии, отлично разбиравшейся в тайнах англосаксонской поэзии. На мой вековой вопрос, что она знает о русской зарубежной литературе, последовал вежливый ответ:

– Ну как же, у вас были Аверченко, Игорь Северянин.

Бунина и Шмелева, прополов, издают теперь в Союзе полумиллионными тиражами. Россия еще долго будет питаться исключительно эпигонами. Ей нужна детская литература для хрестоматий.

Вероятно, минет столетие, прежде чем СССР опять станет Европою; лишь тогда Россия “откроет” своих мальчиков, никогда не прерывавших внутренней связи и с Европой, и с родной. Для эмигрантской поэзии этот срок наступит раньше.

К семи часам наиболее солидные начинали расходиться из шоферского бистро... Время обеда. Но кое-кому все еще не хотелось расставаться, так бы профуфукали царство небесное за путаным разговором, когда чудится, что дело делаешь. И может, это верно.

В начале тридцатых годов так случилось, что Поплавский, Фельзен и я, иногда Шаршун, повадились еще заканчивать вечер у Ремизова, в том же квартале. Мы пересекали туманный сквер; там на углу шумел проточной водой ржавый писсуар на две персоны. Туда мы решительно направлялись. Фельзен входил первый как старший возрастом, а может, и по другим причинам. Затем я впереди заколебавшегося Бориса. Он оставался извне и барабанил по гулкой жести нашего пристанища, шутливо и матерно ругаясь. Только что он галантно уступил мне место, а уже негодует!

Теперь мы с Фельзеном уже дожидаемся Поплавского: смех, ругань последнего, шум воды и газового рожка, весенний шорох каштанов (или осенний скрип голых стволов). Все это залегло узлом в моей душе, зреет там и мнится – вот-вот прорастет новыми, преображенными побегами.

Фельзен еще обычно исчезал к себе на часок подкрепиться – он жил у своей богатой сестры. Мы с Поплавским заправлялись у стойки чашкой шоколада с круассанами. Потом слонялись, жадно впитывая творчески живое парижское небо. Болтали... О любви, о Маркионе, о Прусте и раннем Зощенко – все одобренное стихами, остротами и, главное, литературными сплетнями.

Часам к девяти опять сходились у Ремизова. Гениальный Алексей Михайлович тогда, казалось нам, был уже “разоблачен” вполне. Одно время, но недолго, считалось модным увлекаться его наружностью, игрушками и даже прозой. Но в 16-м аррондисмане это единственное место, где мы могли еще собраться вечером. Повторяю, нам порою было мучительно расставаться. Как будто знали уже, до чего эфемерно это интеллектуальное счастье, и предчувствовали близкий конец.

В самом деле, разве трудно было на исходе этого воскресного дня вдруг узреть, что Мережковские – Ивановы останутся верными себе и начнут пресмыкаться перед немецкими полковниками; а наши “патриоты” Ладинский – Софиев при первой okazji уедут в Союз! Мать Мария и Вильде, Фельзен и Мандельштам – погибнут, и каждый по-своему. А первым уйдет Поплавский. Право, это легко было предсказать!

Итак, Ремизова мы уже “разгадали” и не любили, постепенно только, по обычной неряшливости, прерывая установившуюся привычку, связь. Там в доме царила всегда напряженная, ложная, псевдоклассическая атмосфера; Алексей Михайлович притворялся чудачком, хромым и горбатым, говорил таким чеканным шепотом, что поневоле душа начинала оглядываться по сторонам в поисках другого, тайного смысла. Предполагалось вполне доказанным, что у него много врагов, что Ремизова ужасно мало печатают и все обижают!

Чай Алексей Михайлович разливал из покрытого грязным капором огромного чайника. Серафима Павловна – тучное, заплывшее болезненным жиром существо с детским носиком – неловко возвышалась над столом, тяжело дыша, постоянно жуя, изредка хозяйственно, зорко улыбаясь. К чаю ставили тарелку с фрагментами сухого французского хлеба или калачей, даже бубликов, но все твердокаменное. Поплавский, умевший и любивший посплетничать, уверял, что его раз угощали там пирожными, но их поспешно убрали, когда раздался звонок в передней; впрочем, нечто отдаленно похожее передавал и Ходасевич.

Шутки и выдумки Поплавского запоминались, как-то прилипали, даже если не совсем соответствовали истине! Особенно прославился его апокриф, посвященный Мережковскому...

Три восточных мага приехали будто бы на квартиру Дмитрия Сергеевича (11-бис Колонэль Боннэ) и затеяли с ним беседу.

– Что есть первая истина? – осведомились маги. И Мережковский, не моргнув бровью, открыл им эту тайну.

– Что есть вторая тайна? – продолжали допытываться мудрецы.

И опять русский мыслитель легко удовлетворил их любопытство.

– А куда идут деньги с вечеров “Зеленой лампы”?

Тут Мережковский не смог ответить и заплакал.

Поплавского вообще привлекало зло своей эстетической прелестью. В этом смысле он был демоничен. И, участвуя в черной мессе или только являясь непосредственным свидетелем ее, он улыбался гордой, нежной, страдальческой улыбкой, будто зная что-то особенное, покрывающее все.

Наружность Бориса была бы совершенно ординарной, даже серой, если бы не глаза... Его взгляд чем-то напоминал слепого от рождения: есть такие гусяры. Кстати, он всегда жаловался на боль в глазах: “Точно попал песок...” Но песок этот был не простой, потому что вымыть его не удавалось. И он носил темные очки, придававшие ему вид мистического заговорщика.

Говорят, в детстве он был хилым мальчуганом и плаксою; но истерическим упорством, работая на разных гимнастических аппаратах, Поплавский развил себе тяжелые бицепсы и плечевые мускулы, что при впалой груди придавало ему несколько громоздкий вид.

В гневе он ругался, как ломовой извозчик, возмущенно и как-то неубедительно. Подчас грубый, он сам был точно без кожи и от иного прикосновения вскрикивал.

Влияние Поплавского в конце двадцатых и в начале тридцатых годов на русском Монпарнасе было огромно. Какую бы ересь он ни высказывал порою, в ней всегда просвечивала “творческая” ткань; послушав его, другие тоже начинали на время оригинально мыслить, даже спорили с ним. Это в первую очередь относится к разговорам Бориса. Когда-нибудь исследователь определит, до чего творчество наших критиков и философов после смерти Поплавского потускнело.

Его многие не любили при жизни, или так казалось. Постоянно спорили, клевали, наваливаясь скопом, завистливо придираясь, как полагается на Руси. А он, точно сильная ломовая лошадь, которую запрягли в легкий шарабан, налегал могучим плечом и вывозил нас из трясины неудачного собрания, доклада, даже нищей вечеринки. Дело могло кончиться скандалом, но все-таки у многих в сознании на следующее утро, как в саду после грозы, обнаруживались вдруг свежие творческие побеги.

Поплавский, выступая на собрании, говорил монотонно, напевая под нос и как бы задыхаясь к концу длинной фразы. Когда он начинал задыхаться, то ускорял речь и повышал голос, чтобы успеть пояснить мысль и затем лишь перевести дух. Но это повышение и ускорение как-то всегда совпадали с наиболее острой его мыслью, а может, она представлялась таковою благодаря удачно затрудненному дыханию.

Стихи свои он читал тоже с монотонным напевом и под нос, как бы через свирель, вдруг ускоряя темп; впрочем, в начале строфы голос его мог звучать как у школьника. Я умел хорошо подражать его чтению, но с годами эта способность пропала. В те времена “Черную Мадонну” или “Мечтали флаги...” повторяли на все лады, не только в Париже, но и на “монпарнасах” Праги, Варшавы и Риги.

Поплавский был чуть ли не первым моим знакомством на Монпарнасе. И с того же дня мы перешли на “ты”, что не было принято в русском Париже; в ближайшие десять лет он, вероятно, остался моим единственным “ты”. И это, конечно, не случайность для Бориса.

Мне пришлось быть свидетелем, как в продолжение целой ночи в удушливом подвале на Пляс Сен-Мишель, куда мы прошли после собрания в “Ла Болле”, Борис говорил Фельзену “ты”, а тот вежливо, но твердо отвечал на “вы”. Много лет спустя Фельзен, оправдываясь, объ-

яснял, что он не любит, когда его заставляют! (Как, должно быть, ему было мучительно в подлых немецких лапах.)

Эта ночь подобно кошмару тянулась без конца; Поплавский был точно на пороге эпилептического припадка, словно вся его жизнь вечная зависела от того, откликнется ли его собеседник на братское “ты”.

В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком на Монпарнасе, известно было только, что его уважают Адамович, Ходасевич и многие богатые меценаты. Это, конечно, могло вначале повлиять на Поплавского, но дальше тяжба его была уже не карьерного порядка.

А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте, о римском патриции, осужденном на смерть и боящемся казни; его любовница вонзает себе в грудь кинжал и, улыбаясь, говорит: “Видишь, это совсем не страшно...” (Любимая история Поплавского.) Все эти его речи были пересыпаны интимнейшим “ты” в ожидании немедленного чуда, отклика, резонанса.

Поплавский приходил ко мне, часто в неурочный час, на рю Буттебри и слушал мои первые рассказы. Он находил в них “напор”. После выхода романа “Мир” Борис повторил несколько раз, что я похож на человека, которому тесно: он постоянно всем наступает на ноги!

В его “Аполлоне Безобразов” воскресший Лазарь говорит “мерд”! В “Мире” у меня есть нечто похожее, и Поплавский жаловался на мою “плагиату”. Когда я по рукописи доказал, что о прямом заимствовании не могло быть и речи, он грустно согласился:

– Да, все мы варимся в одном соку и становимся похожими.

Ссоры с ним регулярно сменялись полосами дружеского общения. Мы расхаживали по бесконечным парижским ярмаркам и базарам, по ботаническим и зоопаркам, приценивались к старинным мушкетам или к подзорным трубам эпохи Армады. Иногда отдыхали в синема или подкреплялись неизменным кофе с круассаном. Я тогда верил в медицину и в февральскую стужу – чтобы предупредить бронхит, пил, обжигаясь, горячее сладкое молоко. Он издевался, придумывая разные забавные, а иногда и злые ситуации, потом распространял их как действительно имевшие место.

Придешь в следующую субботу к нашему общему другу Проценко – такой малороссийский Сократ, “учитель жизни”, – не отличавшемся, казалось, никакими формальными талантами, а оказавшему большое влияние на многих... Только зайдешь, еще стакана вина не предложили, а уже Проценко с деланой строгостью спросит:

– Что это, Василий Семеныч, неужели у вас в рассказе герои пьют конскую мочу?

До меня уже дошли слухи о новой проделке Поплавского, и я горько отбивался:

– Там сказано: “От запаха конской мочи першит в горле”... вот и все!

Любимым анекдотом Бориса был разговор, будто бы подслушанный им в Монте-Карло:

– Вы тоже мистик? – спрашивает один.

– Нет, я просто несчастный человек.

Или другая выдумка: монаху за молитвою все время является соблазнительный образ женщины.

– О чем просит этот анахорет? – осведомляется наконец Бог Саваоф.

– О женщине, – докладывают Ему.

– Ну, дайте ему жжеенниину!

О каждом из своих друзей Поплавский знал что-то сокровенное или злое; впрочем, преподносил он это почти всегда снисходительно и мимоходом.

На мой вопрос, действительно ли фамилия одного нашего литератора чисто итальянская, Поплавский, сладко и болезненно жмурясь, объяснял:

– Он кавказский армянин. Знаешь, как Тер-Абрамианец, Тер-Апианец.

И улыбка падшего ангела озаряла землистое, одухотворенное лицо с темными колесами глаз.

В 1941 году я прочитал объявление в “Кандиде” о вернисаже выставки знаменитого художника Тер-Эшковича в Лионе... и вспомнил вдруг Поплавского. Кстати, Борис учился рисованию и хорошо разбирался в живописи, что, разумеется, не случайность в его жизни.

Чудилось – у Поплавского огромный запас витальных сил: вот-вот легко и походя опрокинет ставшего у него на пути... Но вдруг что-то срывалось: совсем неожиданно и ощутимо! Лопалась центральная пружина, и Поплавский застывал на всем бегу, точно зачарованный медиум, улыбаясь сонной улыбкой. И сдавался: соглашался, уступал, уходил!

Его мистическая жизнь была полна пугающих противоречий, и часто вокруг него собирались исключительные по насыщенности темные силы. Мне всегда чудилось: не устоит, не осилит! Ясно, что тут речь шла о другом плане, ибо в таланте или даже в гении ему никто не отказывал. Внутренне он чересчур спешил, тщаьсь развить духовные мускулы так же непропорционально, как и свои бицепсы.

Отношения с Поплавским не могли быть равными. С ним, единственным, кажется, из всех парижских литераторов, я дрался на кулаках в темном переулке у ателье Проценко, где веселились полупоэты и полушоферы с дамами. В этот вечер уже с самого начала Борис был уязвлен, приход Адамовича раздражил его еще больше. Он вообще был чрезмерно чувствителен к отзывам печати, совсем не стараясь этого скрывать. Даже статья заведомо глупого или ничтожного собрата все-таки действовала на него завораживающе. Эта черта, свойственная всей русской литературе, она в эмиграции развилась до уродства именно по причине совершенной тщетности и бесплодности нашей деятельности. Ну, похвалит тот, другой... Никаких обычных последствий ведь нельзя ожидать – то есть увеличения тиража, гонорара, почета!.. Сплошное какое-то почесывание пяток друг другу. Главное, рецензии эти воспринимались как последнее мерило, ибо не было еще одной инстанции – читателя!..

Что отношение может быть другим, я понял только позднее, попав в страны англосаксонской культуры. Там независимые джентльмены почитают за долг относиться равнодушно к тому, что другие джентльмены пишут о них по обязанности. За все время существования американской литературы вы не найдете статьи в духе того, что писал, скажем, Салтыков-Щедрин о своем современнике Достоевском.

Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было немного), относилось именно к этой теме. Раз в “Доминике” поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:

– Даже теперь еще... а сколько было... как только увижу свое имя в печати, и вот тут, – он поскреб пядью у себя в области сердца, – вот тут чувство, похожее на оргазм!

Что же обвинять Поплавского! Никто ему не подавал другого примера. К западу от Рейна постепенно укоренилось мнение, что если христианские отношения пока еще не установились в нашем обществе, то надо, по крайней мере, хотя бы вести себя прилично. Русское понимание *comme il faut* относилось главным образом к чистой обуви и перчаткам, а отнюдь не к *fair play*. А между тем с этим свойством общество не рождается, *fair play* можно только прививать.⁴⁰⁴¹

Что греха таить, на родной Руси люди по сей день испытывают особое удовольствие, если им удастся неожиданно совершить подлость или повести себя неприлично. Устами воображаемого героя Достоевского: “Вот мы с вами только что обсудили все высшие материи и настроились на европейский лад, а я вот возьму, ха-ха-ха, и сделаю гадость, хе-хе-хе”. Сталин, по свидетельству авторитетных лиц, почитал за высшее наслаждение обедать с человеком, которого уже приговорил к расстрелу или пыткам. Перехамил или перекланялся – так определял Поплавский собственный недуг.

Вернее было бы – перехамил и перекланялся одновременно.

⁴⁰ Приличие, хороший тон (*фр.*).

⁴¹ Честная игра (*англ.*).

Георгий Иванов, человек, интимно связанный со всякого рода бытовой мерзостью, но по своему умница, с удовольствием повторял слова Гумилева: “Войти в литературу – это как бы протиснуться в переполненный трамвай... А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося”.

Увы, эти “трамвайные” нравы не были свойственны только литературе. И в русской политике – правой или левой – требовались те же “гимнастика”, натуральная борьба, византийские джунгли, хе-хе-хе.

Эти рудименты пещерной культуры характерны для всего Востока, но особенно они угрожают в России, где звание писателя ставится необычайно высоко, чуть ли не на одном уровне с пророком, святым, борцом за правду. На Западе совсем иное отношение к литературе. Хемингуэй пишет хорошие рассказы, но ему не придет в голову указывать современникам, за какого президента голосовать. Пруст поместил свой капитал в публичный дом и жил с прибыли, что дало ему возможность написать гениальный роман.

Какое это было откровение, когда я двадцатилетним юношей впервые услышал, что писатель может играть на бирже и волочиться за мальчиками... И совсем не нужно обязательно проповедовать, страдать, клеймить, идти на каторгу или делать вид, что страдаешь, жертвуешь. Причем парадокс – именно эти вежливые писатели, отдающие деньги в рост, никогда не бросают “подлеца” своим собратям и не ловят их на грамматических ошибках.

Среди парижских писателей было несколько заведомых джентльменов: Осоргин, Фельзен. И какое это было чудо отдохновения с ними общаться: парадиз, остров ровного доброжелательства среди соборного царства перехамства.

– Вот, – говорил мне Поплавский, хвастливо протягивая письмецо. – Если делать дело, то надо его делать как следует.

Письмо было от Алданова к Зеелеру (секретарь Союза писателей и журналистов, по внешности Собакевич из “Мертвых душ”). Марк Александрович рекомендовал Поплавского как талантливого поэта и поддерживал его просьбу относительно единовременного пособия в размере ста франков. Алданов любил такого рода благодеяния и никому, даже негодяям, в них не отказывал. Мне он раз даже дал список своих переводчиков на иностранные языки. “Все мертвые души!” – узнав об этом, хихикнул Иванов.

Думаю, что следует пояснить наше тогдашнее отношение к чужим деньгам и вообще к услугам посторонних... В те годы получить субсидию или подачку почиталось лестным! Помню скандал, устроенный Смоленским, когда ему ничего не уделили из собранной суммы. На возражение Фельзена (председателя), что Смоленский теперь работает и не очень нуждается, последний трагически завопил: “Поэт я или нет? Неужели я хуже Кельберина? А раз не хуже, то и мне полагается!”

Вспоможествования, милостыня становились в нашем обиженном сознании чем-то вроде чинов и орденов чеховской Руси. Случаев гордого отказа от таких денег почти не бывало. Впрочем, все знали, что Осоргин и Алданов никогда ни от каких “обществ” или частных жертвователей субсидий не получали и не желали получать. Но это вызывало только циничные замечания Иванова, стригшего без зазрения совести и трусливых овец, и блудливых волков.

Только потом, в США, увидав, как по пятницам выстраиваются скромные веселые люди разных мастей у окошечка в конторе и с достоинством получают свой чек за недельный труд – от 40 до 90 долларов, причем за 10 долларов можно купить обувь или простое женское платье, а за 50 мужской костюм... – только тогда мне что-то открылось! Наивные американцы должны еще рассчитаться окончательно с налоговым инспектором, и все же при всяком удобном и неудобном случае они любят повторять, что никому ничем не обязаны и ни о чем не просят... Это некий местный идеал (как ратовать за народ в России), одинаково обязательный

для полумоек и для поэтов, преподающих Creative Writing в колледжах, для черных лифт-боев и седых дантистов.⁴²

Нам в детстве твердили про героев, затыкавших пальцем пулемет, бросавших бомбы в генерал-губернаторов, или о святых, раздававших мужичкам свое заложенное имение. Но о том, чтобы трудиться целую неделю, а в пятницу, получив чек, заплатить по счету, гордо заявив: “Я, слава Богу, никому ничего не должен и ни в чьей помощи не нуждаюсь...” – о таком варианте гражданской добродетели мы не слышали. А жаль.

Зато в США люди выглядят примитивами, когда заводишь разговор о мистике падения, о национальной идее, о соборности искусства и об уходе Толстого из Ясной Поляны. Тоже, конечно, жаль.

Итак, Поплавский на вечеринке в ателье Проценко, где днем красили галстуки и шарфы, был особенно раздражен. Статья Адамовича, задевшая его, стакан вина из нового запаса, привезенного таксистом Беком (бывшим русским подводником), или “постоянная” девица, не отстававшая ни на шаг от Бориса, – все это могло подействовать на него удручающе. Кстати, девица эта изъяснялась по-русски с невозможнейшим акцентом; о ней мне Поплавский повторял, зло и страдальчески жмурясь:

– Она питается моими экскрементами.

Началось с того, что я разговорился с Адамовичем; тот считал, что похвалил Поплавского. Вообще, критику в эмиграции жилось подчас очень несладко: все вместе, все на виду, каждый день жмешь руку... Если выругаешь А, то Б надо еще больше покрыть; а похвалишь С, то Д следует опять-таки выделить особо. Все взвешивается мгновенно на чутких, точных, хотя и нематериальных весах, и сразу предьявляется претензия. Кроме того, существуют редакции, старики, зубры, снобы, радикалы. Как тут сохранить равновесие и популярность! Причем все равно писатели никогда не удовлетворены.

Однажды Адамович выделил строку Поплавского “Город спал, не зная снов, как Лета...”, указав, что последние слова звучат точно “котлета”. Остроумно. Но Борис в истерике заявил, что он опозорен навеки: “Ты не понимаешь, я поэт и все воспринимаю иначе”.

Мое уединение с критиком ему не понравилось. У Поплавского была такая черта ревности. Около полуночи он со своею девицей вылез наружу в глухой переулок, что у метро “Censier Daubenton”. Да, в сексуальном смысле у нас не все обстояло благополучно. Грустный факт заключался в том, что за пределами литературных дам, которые не были созданы для вульгарных отношений, на нас никто не обращал внимания. И немудрено: плохо одеты, без денег и, главное, без навыка к легкой жизни и приятным связям. А между тем Париж был полон взволнованных иностранок, приезжавших туда, чтобы разделаться со своей опостылевшей добродетелью. И нам именно этого хотелось! Но, увы, они, казалось нам, предназначались для другого сорта мужчин – удачников (что часто означало почему-то – пошляки, бездарности).

Еще одна черта восточного Гамлета: культ недотеп, мстительное презрение к удаче! Большевики, судя по дипийцам, с этим, кажется, покончили.

Но иногда мы натывались на тревожный парадокс – удачные удачники. И талантливы, и умны, и мистически подкованы, а жар-птица им все-таки дается в руки. Тогда мы не знали, как себя вести, выдумывая разные оговорки, кидаясь от одной крайности в другую: перехамив и перекланявшись! На этом, в сущности, была основана безобразная травля в Париже “берлинца” Сирина.

Итак, Борис вышел с девицей в переулок и уселся в пустое такси Бека, дожидавшееся своего хозяина. Потом Бек мне жаловался, что они заблевали подушки в машине: “А ведь мне еще работать пришлось”.

⁴² Писательство (англ.).

Там, на заднем сиденье, Поплавский полулежал с дамою сердца, когда я тоже выполз проветриться. Из озорства я несколько раз протрубил в рожок, мне тогда это показалось остроумным и даже милым.

Но Поплавский вдруг неуклюже, точно медведь, вывалился из такси и полез на меня, матерясь и возмущенно крича:

– Ах, какой хам... ах, какой хам...

В его страдальческом голосе были нотки подлинного отчаяния. Мы несколько минут сосредоточенно и бесцельно боролись, он зачем-то рвал на мне ворот рубахи и даже вцепился в волосы.

Наш общий друг Проценко в это время как раз освежался у забора. От совершенной неожиданности, любя нас обоих, он опешил, буквально парализованный, не зная, что предпринять... Так он мне потом объяснил свое состояние. Вино, разумеется, тоже сыграло некоторую роль.

На нашу возню из ателье высыпали другие литераторы, шоферы, дамы. Всеволод Поплавский, брат Бориса, весело картавя, вопил:

– Обожаю русскую речь...

Бек нас разнял; он потом уверял, что только из уважения к выдающемуся поэту не избил последнего за испорченные подушки. И это очень польстило Борису.

– Неужели мы когда-нибудь войдем в людное собрание как настоящие, общепризнанные знаменитости? – спрашивал он меня вполне серьезно.

Внутренне он спешил, чересчур спешил.

В те десятилетия мы много ходили. Пройти ночью с Монпарнаса к Шатле, где Поплавский тогда жил, было не только экономией, но и удовольствием. По дороге он покупал в кафе-табак полые французские свечи.

Они стоили гроши, и этой мелочью я его иногда ссужал. Кстати, пустые парижские свечи вызывали ожесточенную ругань среди наших правых “почвенников”. “Смотрите, – кричали они. – Разве такая нация сможет воевать с немцами?”

С деланой грубостью Борис произносил на прощание:

– Вот ты дрыхнуть идешь, а я еще буду писать роман.

Старая квартира Поплавских – совсем близко к Halles – освещалась газом, который мать на ночь выключала не только по соображениям безопасности или экономии, но и чтобы досадить сыну – так мне казалось.

После литературных собраний мы почти всегда выходили вместе. Помню, раз Горгулов читал в “Ла Болле” поэму, где черный кот все хотел кого-то или что-то умять. Эту поэму Павел Бред (его литературный псевдоним) задумал как оперу и уверял, что уже нашел соответствующего композитора. Комната кафе, где висела жуликоватая доска с именами прежде здесь собиравшихся знаменитостей – Верлен, Оскар Уайльд, – квадратная комнатка буквально сотрясалась от глумливого хохота современных российских поэтов.

Председательствовал совершенно случайно Дряхлов, тогда член правления, – человек очень русский со всеми надлежащими прелестями и недостатками. Вообще на редкость бестактный и угловатый, он вдруг становился предельно нежным и природно аристократичным, когда дело касалось униженных или обездоленных. А через минуту опять скабрёзно ослаблялся.

Вот он, Валерьян Федорович – мой друг, поэт, с которым мы много и зря ссорились за шахматами или Блатвской, – неистово стучал костлявым кулачком по дубовому, рыцарскому столу, призывая собрание к порядку.

Тогда Горгулов поднялся во весь свой богатырский рост, и сидевшие близко испугались: гигант, тяжеловес, вот-вот схватит длинную скамью и начнет крушить – мокрого места не оста-

нется!.. И в то же время смешно: этакая несуразность! Образцовая физическая машина, а в мозгах явная недохватка. Ну зачем он пишет поэмы?

В эту ночь Поплавский, Горгулов и я долго бродили по Тюильри. В Париже была такая черточка – немедленно завоевать нового человека! Особенно старался всегда Борис.

Горгулов окончил медицинский факультет в Праге – он был несколько старше нас – и, естественно, старался получить у меня ценную информацию относительно практики для иностранцев, госпиталей и экзаменов. В собственном литературном призвании он не сомневался, а наши заслуги игнорировал.

Некоторые его вопросы, впрочем, сбивали меня с толку.

– Кто здесь делает аборты? Какие у вас девочки? Почему сегодня хорошеньких не было?

Увы, мои ответы его явно не удовлетворяли. Становилось как-то очень грустно: чужая формация, нам не о чем разговаривать. Вдруг Поплавский резко остановился под лучшей аркою Парижа – Карусель – и начал облегчаться. За ним, сразу поняв и одоблив, Горгулов и я. Там королевский парк и Лувр со всеми сокровищами, а над всем хмурое небо неповторимого рассвета – пахнуло вдруг полем и рекою... А трое магов, прибывших с Востока, облегчались в центре культурного мира. Наш ответ Европе: лордам по мордам.

Поплавский был гениальным медиумом и легко подпадал под влияние чужих лучей, вибраций. Он бессознательно и точно оценил Горгулова и сразу сдался.

Силы у Горгулова не переводились, но куда их девать – вот вопрос. Через несколько месяцев он застрелил президента республики, невинного и седовласого старца Думера.

Бывало, слоняясь по историческим фобургам, мы старались понять, как чувствовали себя “аристо”, когда их везли по Парижу к гильотине. И вот случилось: член парижского объединения писателей и поэтов всходит на высокие мостки. Карьера противоположная, но по блеску почти равная карьере Сирина-Набокова.⁴³

Толпа на бульваре тихо, но взволнованно рокотала; быстро были открыты всю ночь. Раздраженный и раздражающий смех грубо накрашенных женщин, не разберешь, кто шлюха, а кто дама общества. Грубоватые окрики озабоченных корсиканцев, гадающих о собственной неясной судьбе. Атмосфера торжественности, как в церкви, и азарта, точно на скачках.

Уже светало, когда с ним покончили. Издалека, по движению ставшей одним телом толпы, можно было догадаться, что не все протекает в соответствии с расписанием. Последние минуты тянулись немыслимо долго... Кругом шепотом объясняли, что нож заело, что надо начинать сначала. Но наутро газеты объяснили: крупное тело Горгулова не умещалось в ложе гильотины... Шея казака не влезала в раму под нож.

Как-то недавно в нью-йоркском госпитале мне пришлось укладывать отказавшегося после операции дышать тяжелого грузчика в “искусственные легкие” для автоматического дыхания. Никак не удавалось втиснуть это гигантское тело в нечто отдаленно похожее на станок гильотины. Тогда я вспомнил моего современника Горгулова. Дело в том, что наши аппараты, инструменты – в казни и спасении равно – увы, рассчитаны только на “среднего” человека.

Горгулов умер среди толпы чужих, на манер Остапа Бульбы (“Слышишь ли ты меня, батько?”). В другое время, под иными звездами, в знакомой среде из него вышел бы, пожалуй, герой.

Если современное общество допускает возможность преступлений, за которые главным образом ответственны условия существования, детство, родители, болезни, то тем паче это должно быть верным по отношению к некоторым подвигам. То есть надо прямо сказать, что многие герои не заслужили ни награды, ни почета, ибо на этот славный путь их тоже поставили “объективные условия”. Или человек лично ответствен за все свое дурное, или он и похвалы не всегда лично заслуживает!

⁴³ Фобург – от *фр.* faubourg, предместье.

Говорю это в связи с русской историей последних ста лет: какая героическая эпоха! Что ни юноша, то революционер, то святой, жертва, светлый мученик. Ведь они все шли на каторгу – за идеи, за народ... Те самые, что сейчас бегают по Нью-Йорку, стараясь перебить друг другу аванс под новый казенный “проект”. Бывшие подвижники превратились в нечто похожее на подрядчиков времен Крымской войны, о которых так проникновенно писал ужасный Салтыков-Щедрин.

– Подметки на ходу срезают! – восхищенно объяснил один дипиец, тоже с крепкими локтями. – А ведь считались деликатными интеллигентами.

Кто знает, может, действительно иногда решает время, эпоха, эон, а не усилие отдельного человека, особенно если последний отнюдь не оригинален и поддается влиянию моды.

Весна и осень в Европе прекрасны, в Париже и лето порою чудесно, вопреки угару и зною. Поплавский даже воспевал это застывшее пекло. Мы бродили по рынкам и бульварам, исполненные юношеского восторга, в поисках идеального воплощения подвига и греха.

Поплавский вдруг увлекся православной службой. Он не следовал за модой, а сам ее устанавливал. Постился, молился, плавал и поднимал тяжести до изнеможения, хлопотал над гимнастическими аппаратами, убивавшими плоть, но и, о чудо, развивавшими мышцы. Он сочинял для себя нечто похожее на вериги, а пока приходил на Монпарнас, щелкая трудной машинкой для ручных упражнений. Проговел всерьез весь Великий пост, так что его даже в кафе почти не видели.

– Фу ты, дьявол, – отдувался он удовлетворенно. – Это тебе не латинские книксены – отстоять русскую службу.

Тогда уже все увлекались парижской школой православия, как несколько позднее кинулись в масонство. Был такой поэт Пуся, или, вернее, Борис Закович – друг, ученик, раб Поплавского и автор нескольких волшебных стихов (ему Поплавский посвятил свою вторую книгу стихов – щедрый дар верному спутнику). Когда я называл Заковича Пусей, тот твердо возражал, что было смешно, ибо казался он существом музыкально-уступчивым, из ртути, что ли:

– Для вас я не Пуся, а Борис.

Пуся играл прескверно в шахматы, а так как бесплатно я не играл с бездарными противниками, то он и проигрывал изрядные по тогдашним понятиям суммы и часто отказывался платить, ссылаясь на Поплавского:

– Боб сказал, что я не должен платить, нечестно играть со мною на деньги!

Вот Закович тоже тогда увлекся литургией Василия Великого, что не помешало ему вскоре вступить в масонство вместе со многими другими литераторами.

Поплавского масонство всегда волновало и притягивало; он проповедовал, что мы живем в эпоху тайных союзов и надо объединяться, пока не наступила крошечная тьма. Но “генералы” ему не верили – характер неподходящий! Во всяком случае, несмотря на все хлопоты и истерики, в масоны его не пропустили. Пусю приняли вместе с десятком других энтузиастов.

Софиев и Терапиано еще до того числились вольными каменщиками разных толков. Осоргин собрал ложу, кажется, Северных братьев. Теософы, антропософы имели свои ячейки. Понемногу все объединились; архиправые кинулись в ложу, надеясь изнутри овладеть Троей. (Во Франции, разумеется, масонство – вполне легальная организация.)

Говорили, что недавно приехавший в Париж берлинец “лезет” во главу русского масонства, в чем ему будто бы помог Авксентьев. Все это ужасно волновало Поплавского, и, вероятно, тогда он начал принохиваться к кокаину. Отец Пуси был дантистом и после смерти оставил множество каких-то подозрительных пакетиков.

– Может, он не был простым дантистом, – с прекрасной, задумчиво-злой усмешкой невольно объяснял Борис.

Кроме того, он еще неудачно влюбился. Барышня уезжала в Союз к своему жениху, но перед отъездом еще почему-то уединялась с Вильде, что чуть не привело к дуэли.

Фельзен и я тогда организовали издательство при нашем – молодом – Объединении. Мы устроили выставку книг зарубежных изданий: продажа, ежегодная подписка и входная плата по замыслу должны были обеспечить издание новых книг.

Поплавский вручил нам рукопись своего романа “Домой с небес”, надеясь, что мы его издадим. Он писал бурной, размашистой лирической прозой большого поэта, со всеми преимуществами и недостатками такой манеры (от Андрея Белого до Пастернака включительно).

Когда на Монпарнасе ругали редакционную коллегию за то, что мы в первую очередь издаем свои книги (“Письма о Лермонтове” и “Любовь вторая”), Поплавский неизменно нас защищал, повторяя громко и внятно:

– А что, они не писатели, что ли?

Потом приходил на выставку и ругал этих “зануд”.

Но все же мы не могли поднять его романа – слишком велик и не окупится подпиской. Вместо “Домой с небес” мы в следующий год выпустили Агеева “Роман с кокаином”. И это было для Поплавского предательским ударом.

Теперь мне просто непонятно, как это мы отвергли его рукопись по экономическим причинам! После гибели Поплавского его литературным наследством ведал Татищев, всячески, казалось бы, старавшийся издать роман, что ему, однако, никак не удавалось; психоанализ объяснил бы это бессознательным “блокированием”, торможением. Во всяком случае, и мы с Фельзеном книги этой не “подняли”.

Интересно еще следующее... Приблизительно в это самое время Фондаминский, похоронив супругу, решил организовать “Круг” – нечто вроде литературно-философско-религиозных бесед, – соединив впервые силы уже подросшего нового поколения с начинающими стареть интеллектуальными бонзами эмиграции. Фондаминский усердно советовался с нами, составляя списки приемлемых членов, встречаясь со многими из нас отдельно и группами... Он расспрашивал, сравнивал отзывы, сверял и наконец принимал решение в соответствии с общим впечатлением.

Вот тогда же мы все, в одиночку и коллективно, дали Поплавскому такую рекомендацию, что он в “Круг” не попал. Вероятно, впоследствии, в разгаре встреч он все-таки был бы принят, слишком уж вся эта стихия была ему конгениальна. Но факт все-таки остается: вначале мы его не пригласили, забраковали. Осенью того же года Борис умер.

Притча о камне, отвергнутом строителями, одна из самых “экзистенциальных” в Евангелии. О ней придется вспомнить опять... Когда “Круг” удачно просуществовал два сезона, зародилась мысль выделить некое ядро “Круга”, внутренний центр в духе, скажем, нового ордена. Кружок этот должен был связать людей, жаждущих не только разговоров, но и готовых актом закрепить свои чаяния и верования. При этих условиях дружба, даже любовь между членами ордена казались обязательными.

Но когда предложили кандидатуру Вильде в этот внутренний “Круг”, то вдруг раздалось возражения... Говорили, что характер у него неясный, темный, надо сперва выяснить, что да как – не капитан ли Копейкин!..

Эти возражения были выдвинуты единственный раз и по отношению к единственному человеку из нашей среды, ставшему вскоре вождем французского резистанса и погибшему в активной борьбе со злом.

Два скверных анекдота! И они меня многому научили... Вильде мы, впрочем, тогда приняли в содружество.

Мне и Варшавскому, кажется, было поручено инициативной группой встретиться с ним и “выяснить” все. Что мы могли вывести? Не потенциальный ли он предатель, оппортунист?

Мы выполнили наказ, честно посидели в неурочный час, выпили что-то и “прозондировали” почву. В результате нашего доклада на квартире Фондаминского Вильде был принят во внутренний “Круг”. Но об этом после.

Весною я вдруг, манкируя экзаменами, начал писать рассказ о дьяволе, формально – о шахматах. Отправил свое произведение в “Современные записки” и тотчас уехал в Кальвадос, как мне чудилось, на вполне заслуженный отдых: плавание и велосипед до изнурения меня потом поддерживали всю зиму!

В августе я получил письмо от аккуратнейшего В.В. Руднева вместе с моею уже потерявшей девственную свежесть рукописью “Двойного нельсона”. Рассказ недостаточно хорош для “Современных записок”.

Руднев был честнейшим, милейшим, добрейшим русским интеллигентом, дворянином, земским врачом и эсером. Как почти все из этой среды, он мало смыслил в искусстве и не высказывал суждения о живописи или стихах. Но проза казалась ему делом простым и нехитрым. Вообще, литература в России ведь только придаток, аппендикс к другим силам, ведущим борьбу с произволом. И этот честнейший зубр занимался редактированием единственного в эмиграции толстого журнала. Из других редакторов только поэт М. Цетлин был на своем месте. Несколько лет спустя мне удалось поместить этот рассказ в “Русские записки”. Тогда Ходасевич при памятных для меня обстоятельствах пригласил меня к себе для беседы. Он относился серьезно к своим обязанностям критика и считал нужным выяснить некоторые темные места, прежде чем писать статью для “Возрождения”. Узнав, что “Современные записки” мне когда-то вернули “Двойной нельсон”, он пришел в бешенство.

– Ну зачем они берутся не за свое дело? Ну зачем они берутся не за свое дело! – повторял он с отвращением.

Я знаю, что в разное время Ходасевич писал нежные письма и Вишняку, и Рудневу, а может быть, и Милюкову. Он, вероятно, начинал так: “Дорогой Н.Н.…” и завершал: “Уважающий Вас В. Ходасевич”. Но заключить отсюда, что поэт любил этих общественных деятелей или уважал их, могут только очень ограниченные люди.

Гнев его в ту пору был направлен главным образом против Вишняка. Впрочем, на последнем вымещали почему-то злобу многие, словно он один или в первую очередь он был ответствен за все исторические пасквили нашей эпохи. А это, конечно, неверно. Есть такие существа, которые без особых причин кристаллизуют вокруг себя весь общественный гнев. Я встречал множество вдумчивых людей, которые относились к российскому Учредительному собранию с яростным презрением только потому, что М. Вишняк отождествляет себя с этим благородным, но почти мнимым учреждением.

Итак, я получил назад в Кальвадосе рукопись своего рассказа – точно щелчок по носу. Я очень ценил “Двойной нельсон”. Адамович и Ходасевич потом на редкость единодушно и безоговорочно его похвалили. И поэтому я впервые в своей жизни написал редактору, жалуясь... Знают ли эти “принципиальные” герои, что они делают? В нашей фантастической действительности одобрение, признание могут иногда спасти писателя даже от самоубийства. “Творчество в эмиграции не имеет ничего общего с тверским земством!”

Вернувшись в Париж к началу сентября, я в следующее же воскресенье очутился у шоферского кафе, рассчитывая встретить друзей, по которым соскучился. Но оказалось, что многие еще в отъезде или отвыкли ходить сюда за лето. Экономя, я решил не усаживаться за столик. Поплавский меня проводил до дверей. Я тогда заметил, но только потом сообразил его неестественную бледность. Лицо серое, как гречневый блин, с темными, узкими, неприятными усиками, которые он себе вдруг отпустил.

Он был молчалив, сдержан, как-то непривычно солиден. “Числа” больше не выйдут. “Современные записки” ему вернули роман. Впрочем, он теперь интересуется спиритизмом, во вторник, кажется, во вторник он приглашен к одной даме на сеанс. Если я хочу, могу с ним пойти.

– Зайди ко мне к пяти часам, – были его последние слова. – Погуляем еще до того.

На этом мы расстались: он застыл у порога – бледная маска с усиками инка или ацтека как бы висела на высоте человеческого роста.

Позже я сообразил, что это, вероятно, наркотики так преобразили и цвет, и состав его тканей. Помню мертвенно-неподвижно-гладкую кожу лица, без очков.

Игра Поплавского с наркотиками не случайность, началась она очень рано. Его всегда тянуло к прекрасному сну или прекрасному злу. Зло – сон, сон – прекрасен. Его отталкивали грубые безобразия жизни; действовать в жизни – значит безобразничать. Борьба с уродством жизни приводит также к умножению уродства. Ах, уйти, уйти. Повесть о дьяволе – трудная литература. И Поплавский это знал как никто лучше. Дьявол прекрасен, а красота – омут. Да, хороши святые! Но именно благодаря ревности дьявола.

– Вообще, хороши матросы, но не будем говорить о них, – повторял он с восторгом строку из своего любимого “стойка” Гингера.

Смерть неизбежна и прекрасна, даже если она зло. Будем умирать как новые римляне: в купальном трико, на камнях у бассейна с заправленной хлором водою, заснуть, улыбаясь сквозь боль. (Возвратимся к знакомым снам.)

Я иногда встречался с Борисом у общих друзей – Проценко, Дряхлова. Там мы, бывало, закусывали, пили вино, играли в белот или шахматы, спорили, ругались, шельмуя друг друга. Вообще, агапы эти протекали гораздо приятнее, когда одного из нас, Поплавского или меня, не было. При разных обстоятельствах я видел его пьяным.

Иные, опьянев, чувствуют смертную истому и всячески сопротивляются, часто даже безобразно... Вздыхают, стонут, бегают в уборную, кланяются подоконникам, суют себе палец в рот, поднимают, как выразился бы Поплавский, метафизический гвалт.

Другие застывают в мертвом покое, сдаются сразу, покорные и по-своему прекрасные, – на полу, в кресле, под стеною! Не двигаясь, не ропща, почти не дыша; и такие же они в агонии. Поплавский принадлежал к последним.

Во вторник я не пошел на спиритический сеанс, а ведь если бы не забыл, то все могло бы получиться иначе.

Поплавский тоже, по-видимому, передумал. Вместо эзотерической дамы встретился с новым другом, отвратительным русским парижанином, продававшим всем-всем-всем смесь героина с кокаином и зарабатывавшим таким образом на свою ежедневную дозу наркотиков. Говорили, что этот несчастный давно собирался кончить самоубийством и только ждал подходящей компании. Есть такая черта у некоторых вырожденков – захватить попутчика. Для этой цели он только удвоил или утроил обычные порции порошков.

Не думаю, чтобы Борис подозревал о предстоящем путешествии. Он был все-таки профессионалом и в последнюю минуту вспомнил бы о дневнике или незаконченной рукописи.

Под вечер они явились вдвоем на квартиру Поплавских (семья жила тогда рядом с русским земгором, где, кстати, в камерке ютилась редакция “Современных записок”). Вели себя несколько странно, возбужденные, раздраженные. То и дело выходили наружу в уборную и возвращались опять веселые, обновленные. Старики спокойно улеглись спать и больше ничего не слышали. Наутро нашли два остывших тела.

В “Последних новостях” появился портрет Бориса. Тогда я впервые понял, что наша жизнь тоже является предметом истории, не только Бородинское сражение, и подлежит тщательному изучению, так как и о ней могут быть два мнения.

Когда я пришел на квартиру покойного, там уже собрался народ; Шаршун и Кнут рылись в кипе бумаг, подобные навозным жукам. Старик Поплавский, желтый, опухший, с расстегнутым воротом рубахи, зачем-то поднимал высоко к окну старые штаны сына, показывая присутствующим, как они просвечивают. Потом я узнал, что он и другим демонстрировал эти брюки, словно некий метафизический аргумент.

Затем были похороны с огромным ворохом дорогих цветов: розы действительно пахли смертью. В русской церковке нельзя было протолкаться. Барышни рыдали; многочисленные иноверцы стояли с напряженными лицами. Поплавский любил евреев и умел, подражая Розанову, покетничать на тему Христа, крови и обрезания.

Служил о. Бакст – кажется, из протестантской семьи. Он произнес “резкую и бестактную” проповедь, клеймя кокаин, что возмутило некоторых девиц, и они попытались демонстративно выйти из переполненного храма. Особенно гневалась та, что, по словам покойного, питалась его экскрементами.

О. Бакста я во время войны встречал в Марселе. Ему я приношу благодарность за мирный чай и нежную русскую беседу в осажденном варварами мире! В воскресенье 22 июня 1941 года после литургии милые соотечественники в Марселе, как и в Ницце, целовались, поздравляя друг друга с Пасхой духа.

Смерть Поплавского хоть и закономерна, но совсем не характерна для него, тут возможны были разные варианты. Продолжались бы “Числа” или замыслилось бы другое, способное увлечь дело, Борис бы не погиб. С той же легкостью он через год уехал бы в Испанию. А под немцами, безусловно, подвизался бы в резистансе, со взлетами и метафизическими истериками, может быть, с падением вроде Червинской...

Он оставил несколько прелестных стихов, но ценность Поплавского не исчерпывается ими. Он написал десяток страниц вдохновенной прозы, но и романы его – не всё! Поплавский имел “некое видение” и силился его вспомнить, воплотить, часто путаясь, отчаиваясь и прибегая к лживой магии. Больше, пожалуй, он себя выразил в статьях типа “Христос и Его знакомые” и, конечно, в бесконечных бессмертных разговорах.

Еще теперь, четверть века спустя, в блестящих импровизациях некоторых зарубежных примадонн я все еще нахожу крупинцы того золотого песка, который так щедро, небрежно и назойливо рассыпал Борис Поплавский.

II

Laissons les belles femmes aux hommes sans imagination.
*m. proust*⁴⁴

Юрия Фельзена – псевдоним Николая Бернгардовича Фрейденштейна – я встретил впервые на собрании “Кочевья”, в пору расцвета этого кружка, то есть в конце нэпа и двадцатых годов.

До чего ошибочным может оказаться первое впечатление! Даже наружность его при более интимном знакомстве и с годами менялась к лучшему, несмотря на то что краски серели... Вот он, сухой, похудевший, сутулясь, доброжелательно слушает собеседника, никогда не теряя себя или контроля над своими мыслями. В его костлявых, но крепких пальцах дешевый мундштучок с вечной “голуаз жон”. Если бы потребовалось одним словом или одной фразой определить его сущность, то я бы сказал – нечто обратное предательству. Как по отношению к ближнему, так и к себе.

У него развивалась какая-то болезнь спинного хребта, вернее, связок позвонков, так что он слегка согнулся хордою и не мог уже целиком выпрямиться, что подчеркивало его барственную неподвижность и вежливую внимательность.

Свой первый рассказик Фельзен напечатал, кажется, еще в “Новом корабле” и раза два читал это произведение на собраниях: разворачивал перед собою аккуратно завернутый в газету журнальчик и внятно, четко, спокойно, однако с большим внутренним жаром оглашал синтаксически странные, искусные фразы.

Писал он о любви, одобренной самоубийственной ревностью, и в этом смысле плелся в хвосте Пруста; но связь с последним дальше не шла. Хотя предложение Фельзена было длинное и трудное, но прустовское постоянное сравнение предметов одного ряда с явлениями совершенно другого ряда у Фельзена отсутствовало; мир его был линейным. Вот его типичная фраза: “Леля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше – с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня – исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и – трезво это понимая – к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие”.

Я упоминаю о Прусте потому, что Николаю Бернгардовичу часто приходилось туго от этого своего стилистического (типографского) сходства с любимым, великим и модным писателем. Так, улыбаясь, он рассказывал: в Союзе молодых писателей (Данфер Рошро) после чтения Фельзена выступил Г. и заявил, что это сплошной Пруст! А несколько лет спустя Г. сознался ему, что в ту пору еще Пруста не читал.

Вообще, о Прусте в конце двадцатых годов слагались легенды, но читали его немногие. Так во время Русско-японской войны валили всё на подводные лодки, которых еще никто воочию не видал.

Проза Фельзена без красок серый рисунок острым карандашом... Скучная отчетливость. Поплавский выразился: “Кто может выслушать целый концерт для одной флейты!” Для такого рода литературы надо было локтями расчищать дорогу. И Фельзену в этом чудесным образом помогали разные, часто враждебные друг другу влиятельные люди: Адамович, Ходасевич, Гиппиус, Вейдле. Все они старались хоть раз в год похвалить его, даже чрезмерно. Что казалось иногда несправедливым! Любопытно, что со времени падения Парижа и гибели Фельзена никто из оставшихся в живых маститых критиков ни разу не посвятил статьи его романам,

⁴⁴ “Оставим хорошеньких женщин мужчинам без воображения”. М. Пруст (фр.).

это даже неприлично, принимая во внимание предыдущие комплименты. Думаю, что главный талант Фельзена, не выраженный в книгах, заключался в его умении вызвать к жизни в собеседниках их лучшие черты характера. Великая и редкая человеческая способность. И мы все бессознательно были ему за это благодарны.

Практичный, умный и зоркий, он всегда честно разыгрывал свои карты, не упуская ни одной взятки, или по крайней мере так чудилось.

В бридж он играл лучше всех нас, в шахматы совсем слабо. Благодаря картам он свел и помирил таких исконных врагов, как Адамович и Ходасевич. Было особенно приятно иметь его своим партнером против любых противников, даже профессионалов. В чем тут секрет?

Ходасевич за картами обычно нервничал, кривился, ерзал, когда его партнер ремизился. А Фельзен всегда торжествующе сиял, точно напроказивший гимназист, ускользнувший от наказания, и собирал взятки; только в конце, чтобы подразнить, скажет:

– Главное, я выиграл совершенно без карт. Никогда еще такая дрянь не лезла в руки.

Подчас он выглядел первым учеником, которого все преподаватели одинаково хвалят. Но это была только внешность. Независимый, во многом упрямый, осведомленный, трезвый и честный даже в мелочах, когда требовали обстоятельства, он умел отличнейшим образом отстаивать свое мнение, часто сероватое на фоне наших пышных мифов, без компромиссов, и отвечал пусть символической, но все же пощечиной, на каждый хамский тумак поднимающего уже свою рудиментарную голову древнего гада.

Фельзен – сын петербургского врача; в 1912 году, очень молодым, он окончил юридический факультет. После Октября семья переехала в Ригу, где отец продолжал свою врачебную практику. Дядя Николай Бернгардович был владельцем портняжного магазина в столице; там шили блистательные мундиры для золотой молодежи. И эти клиенты дяди сыграли, мне кажется, решающую роль в формировании Фельзена.

Сам он в эмиграции занимался коммерческими сделками – сперва в Берлине, удачно, потом в Париже, с меньшим успехом: вероятно, уже литература мешала.

Почему-то компаньоны часто обкрадывали Фельзена. В Париже он бегал на биржу, но без особого толку, потеряв на какой-то транзакции весь капитал. К счастью, один из вышеупомянутых компаньонов женился на сестре Николая Бернгардовича, в их доме Фельзен мог отныне безданно-беспощинно обретаться.

Биржа и западная коммерческая деятельность наложили особую печать на его творчество: смесь получалась новая, по русским понятиям необычная. Деловая порядочность в Фельзене переключалась в личную и литературную.

Упоминаю об этом еще и потому, что гибель его находилась в какой-то связи с темными аферами его друзей и родственников. Разумеется, лучше всего об этих делах могла бы поведать сестра покойного или ее супруг, ныне, кажется, благополучно проживающие в Швейцарии или в Италии; во Францию они не вернулись, опасаясь суда и следствия.

В романах Фельзена герой, привыкший к хорошей жизни, продолжает подвизаться на коммерческом поприще, но без особой удачи; он влюблен – из книги в книгу – все в ту же нестарющую Лелю (предмет постоянных шуток на Монпарнасе).

Портрет этой Лели – “чистая химия”, с гордостью объяснял он. Иначе говоря, к основному типу, проживающему в Риге, были прибавлены черты разных других дам, с которыми судьба сталкивала автора.

Серия его произведений должна была, по замыслу, составить один роман. Фельзен искал и не мог найти объединяющее заглавие, по удаче равное “A la Recherche du Temps Perdu”. Кроме этого творческого занятия было у него еще одно – влюбляться. И в своих личных романах он постоянно повторял ту же ситуацию – страдающей, ревнующей жертвы. Подобно

Прусту, его сладострастно влекло к такого же рода мукам, и он смаковал роль свидетеля, из угла в гостиной наблюдающего за “Лелей” – как она любезничает с другими самцами.⁴⁵

Основную, первую Лелю мы встретили на Монпарнасе, когда она приезжала в Париж. Она потом погибла от рук наци в Риге, что, разумеется, придает ее облику новое измерение. В “Доминике” она мне показалась несколько крупной дамой с “выигрышными” ногами, по выражению Фельзена, о которой можно только утверждать, что она хорошо сложена, практична и, по-видимому, с характером... Тайна личности, успеха сказывается в творчестве, страдании и в любви! Эта тема одинаково интересовала Фельзена и меня, и мы часто вдохновлялись ею.

Собственно, в таких интимных беседах и заключалась главная прелесть общения с Николаем Бернгардовичем. С Поплавским хотелось спорить, ругаться, а уйдя, в виде мести создать новый мистический вариант Вселенной. С Фельзеном, наоборот, конкретный, тихий обмен мнениями порождал немедленный, самоокупающийся духовный уют.

Слушая его рассказ, казалось естественным вспоминать нечто похожее, параллельное из своего прошлого и сообщить ему. А Фельзен умел слушать, все понимая. Не на лету, не с полуслова, а задавая дельные, точные вопросы: подумает и кивнет головой – приняв это, укладывая в ряд с личным опытом.

В тридцатых годах мы с ним встречались почти ежедневно. Я только что закончил “Любовь вторую”; отрывок под заглавием “Преображение” напечатали “Современные записки”. На этом мои отношения с ними как будто прервались. Как издать книгу?

Между тем Париж ликовал, празднуя вместе с Бунинным его Нобелевскую премию. Иван Алексеевич пил шампанское с утра: особый хмель – не без отрывки. Вера Николаевна, уезжая с мужем в Стокгольм, заявила при свидетелях:

– Вот верьте мне, чует сердце: я еще раз поеду туда за этой премией!

(Предполагалось, что Зуров станет вторым лауреатом.)

А печататься нам все-таки негде было. Тогда это казалось главной препоной для нормальной писательской деятельности. Теперь ясно, что эмигрантская литература гибнет из-за отсутствия культурного читателя.

Наши книги продавались во все русские лимитрофы, но мы не умели использовать этого преимущества. Халатность авторов и жульничество издателей доконали рынок. Вот тогда у меня мелькнула “наполеоновская” идея. И партнером для осуществления замысла я избрал Фельзена. Он тоже к тому времени закончил свои “Письма о Лермонтове” и понял меня сразу до тонкости.

Предполагалось организовать выставку зарубежных книг: издательства охотно предоставят нам экспонаты и соответствующий товар для дешевой распродажи. А мы проведем среди посетителей подписку на будущие издания... За десять франков они к концу сезона получают одну, две или три вновь изданные книги – в зависимости от числа пайщиков, ибо вся собранная сумма пойдет на расходы по печатанию.

Фельзен вполне оценил этот план, но по-своему, практически. В то время как я нажимал главным образом на подписку и жертвенный порыв, он интересовался преимущественно входной платой и процентом с продажи.

– Все хорошо, но где взять приличное помещение, и бесплатно?..

У меня и это было подготовлено. Музей Рериха. Там собирался раз в неделю “Революционный клуб” кн. Ширинского-Шихматова. Выставка зарубежной литературы в общем послужит хорошей рекламой для музея: он стоял пустой круглый год, увешанный тибетскими полотнами художника. Рерих в эти годы хлопотал о создании чего-то подобного Красному

⁴⁵ “В поисках утраченного времени” (*фр.*) – название романа М. Пруста.

Кресту в защиту произведений искусства. Сотрудничество с зарубежными писателями могло помочь делу музея. Но это, конечно, только в том случае, если наша выставка не будет носить характера частного предприятия.

Мы решили действовать от имени Парижского объединения писателей и поэтов. И получили для этого соответствующие полномочия. Была создана Издательская коллегия в составе Фельзена и меня. Три книги, изданные в ближайшие два года и разосланные подписчикам, носили марку этой коллегии.

В продолжение всех последовавших деловых передраг – подготовлений, ликвидации – мы с Фельзеном проводили вместе иногда целые дни, недели, месяцы. И надо отметить совершенное отсутствие обычного в таких случаях взаимного раздражения.

Ум его – всегда ясный, житейски мудрый и положительный, особенно в мелочах: Фельзен поражал и радовал своим *savoir faire*. Когда в ресторане я заказывал курицу, а на первое просил суп, Николай Бернгардович меня наставлял.⁴⁶

– Возьмите лучше *hors-d'oeuvre*! Курицу дают четвертушку, надо же чем-нибудь насытиться.⁴⁷

И хотя впоследствии мне случалось попадать в рестораны, где дают целого каплуна, но все-таки по сей день я выбираю еще закуску.

В субботу ночью на Монпарнасе народ иногда выпивал лишнее и ссорился, кое-кто лез в драку. Фельзен в таких случаях выступал в роли миротворца:

– Я тут команду, – заявлял он решительно, оттесняя спорящих. И так как его многие любили и почти все уважали, то это действовало:

– Да, да, Николай Бернгардович, вы решайте...

И он творил сомонов суд к общему, казалось, удовлетворению. Однако раз новый человек, приведенный Кнутом на Монпарнас, капитан парусного судна, неожиданно возразил:

– Нет, вы здесь не командуете.

И вся многолетняя постройка Фельзена рухнула на манер карточного домика: все опешили...

Мы опять вернулись в “Доминик”; потасовка происходила на тротуаре у метро “Вавэн”. Заказали по рюмке горькой в утешенье. Фельзен молодецки опрокинул вверх дном стопку и лихо подмигнул... Осторожно закусив, он, посмеиваясь, начал мне объяснять всю несуразность происшествия, и я, едва ли не больше всех пострадавший, с хохотом внимал этой воистину смешной истории.

Некий полумеценат и полудатчанин, знакомый Фельзена, прикатил в Париж с молоденькой и стопроцентной розововолосой датчанкой. Спор разгорелся оттого, что меценат, нагрузившись, пожелал наконец увезти эту девицу в отель. Но вышеупомянутый капитан и его друг Куба решили, что нельзя отпустить такую прелестную блондинку, вдобавок сильно выпившую, одну с этим полупавианом!

– Подумайте, – посмеивался Фельзен, неохотно ковыряя вилок в остатках русской селедки. – Подумайте, ведь он ее привез из Копенгагена, они живут в одном номере... Ну не чушь ли это!

У него было особенно развито чувство уважения к “правилам игры”. *Regies du jeu, Rules of the game*, ему представлялись автономными ценностями: нарушение этих законов приводит к сплошному безобразию!⁴⁸

На Монпарнасе сплошь и рядом возникали критические положения. Часто надо было кого-то “спасать”, выкупать, примирять. То Иванов попался на “транзакции” с Буровым, то

⁴⁶ Умение жить (*фр.*).

⁴⁷ Закуска (*фр.*).

⁴⁸ Правила игры (*фр., англ.*).

Оцуп угрожает пощечиною Ходасевичу, то Червинская разбила несколько чашек и блюдец в “Доме”... Чтобы урезонить Лиду Червинскую, иногда требовалось выяснять все отношения, на что после полуночи были способны только люди с железным здоровьем.

Так, раз я наткнулся на Фельзена в темном проулке возле “Монокля” или “Сфинкса”: он тащил за руку упирающуюся поэтессу и, узнав меня, присел на завалинке... С трудом перевел дыхание, затем спокойно, ожесточенно сказал:

– Я больше не могу! Я решительно больше не могу! – и, не дожидаясь ответа, скрылся в тени, словно унесенный предутренним вихрем.

Помню, как, зайдя в “Дом” по личным делам, я вдруг наткнулся на сцену, которую нетрудно было сразу оценить по достоинству: груда посуды на полу, гарсоны в угрожающих позах, а высокая, сутулая Червинская, похожая на Грету Гарбо, стоит у пустого столика, точно дожидаясь приговора.

Заикаясь, я немедленно объяснил, что это все очень легко уладить. Без денег такой поступок с моей стороны граничил с героизмом. К счастью, Куба, прятаясь где-то сзади и виновник припадка Лиды, подскочил и вручил нам требуемые франки.

О русском Монпарнасе слагались легенды. На самом деле жизнь там протекала на редкость пристойно и даже скучно, если не считать основного развлечения: страстные, вдохновенные беседы.

Обычно литераторы просиживали до последнего метро за одной чашкой кофе. Иногда, пропустив последний поезд, шли в “Доминик”. Там нас встречал коренастый Павел Тутковский, с которым я объяснялся отчасти по-латыни, используя все знакомые пословицы. Тутковский, юрист старой русской школы, знал и любил латынь.

– Вита ностра бревис эст! – скажешь ему для начала.⁴⁹

– Бреви финиатур, – охотно поддержит он. – Прикажете той самой?⁵⁰

Люди с деньгами заказывали водку. Смоленскому случалось выпивать за счет дам. Но даже при средствах неловко было напиваться, если рядом сидит голодная душа, а такие у нас бывали. Нагружались систематически только слабые и безобразники да кое-кто из дам.

Милейшая Марья Ивановна, жена Ставрова, любила повторять:

– Вот говорят, что на Монпарнасе происходят оргии, – тут она презабавно кривлялась, подражая воображаемым сплетникам. – Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!

И действительно, ничего противоестественного на Монпарнасе не происходило, жизнь протекала на редкость размеренная и высоконравственная, по местным понятиям.

Чтобы прожить, надо было как-то работать... А писать! Тоже каторжный труд, особенно прозу. Некоторые еще бегали в Сорбонну.

– Я не знаю, когда я пишу стихи, – брезгливо морщил свое лицо утопленника Иванов. – Я их пишу, когда моюсь, бреюсь... Я не знаю, когда я пишу стихи.

Увы, прозаики знали, что для этого требуется определенное место и время, страдали от ненормальных условий.

Обычно Фельзен с дамой приходил на Монпарнас попозднее, они где-то обедали с водкой и чувствовали себя отлично.

– Вы до или после? – шутливо осведомлялся я.

Они отвечали, посмеиваясь:

– После, после.

Кругом разговор о разбойнике на кресте, о Блоке перемежался очередной литературной сплетней; за соседним столом разместились бриджеры и просят не мешать.

– Почему вы даму не взяли? – желчно осведомляется Ходасевич.

⁴⁹ Наша жизнь коротка (лат.).

⁵⁰ Вскоре закончится (лат.).

– А чем ее возьмешь, пальцем, что ли? – голос Яновского.

Адамович торопится между двумя сдачами рассказать про свой недавний сон... Играет будто бы в бридж против Милочки и Романа Николаевича, раскрывает карты, а там одна сплошная масть со всеми онёрами!

Сердце стучит, как перед большим шлемом, но вдруг он замечает, что масть эта совершенно незнакомая, зеленого цвета, и неизвестно, какую следует назначить игру...

– Ха-ха-ха, ну давайте играть, – нервничает Ходасевич.

То, что эти славнейшие эмигрантские критики сидят рядом за мирной партией в бридж, следует рассматривать как некое чудо. И совершил это чудо – Фельзен: он свел обоих врагов!

Причин для исконной вражды было много: метафизических и практических... Разные литературные школы, разные биографии, разные темпераменты, вкусы.

На основе своих теоретических размышлений Адамович должен был бы установить очень почтенную иерархию ценностей: самое главное, скажем, евангельская любовь, затем философия или наука, потом игра, секс, наконец, искусство – на последнем месте... Скромное занятие и совсем не позорное. Но, увы, тут начинался парадокс. Как только человек, созвучный этим настроениям, посвящал себя “творчеству”, он сразу пускался в погоню за “самым главным”, “на последней глубине”, переворачивая всю пирамиду ценностей вверх ногами, доказывая единым существом своим, что именно искусство есть самое важное в жизни: ему-то суждено все преобразить, все объяснить, спасти! Иначе не стоит вообще этим заниматься.

Вот на такого рода противоречия, если не ошибаюсь, пытался обратить наше внимание Ходасевич. Логика его укладывалась целиком между Аристотелем и Ньютоном.

Кроме философских расхождений были, конечно, и вульгарно-обывательские поводы к распре. Адамович вел критический отдел в лучшей и более приличной газете; Ходасевич, разумеется, не удовлетворял общество возрожденческих сотрудников, за малым исключением. А обе газеты конкурировали, и участники вступали в групповые полемики.

Ходасевич в конце концов мог простить Адамовичу, что тот перехвалил Шаршуна: пусть его тешит. Но панегирик Иванову – это возмутительно! Иванов, по мысли Ходасевича, вышел из Фета (и не лучшего Фета). Кроме того, именно Георгий Иванов по своим нравственным особенностям опровергает всю эстетику Адамовича “что бы Толстой сказал?..”. С своей стороны Жорж Иванов тоже не дремал и шептал, шептал, шептал на ухо другу...

Ходасевич, одно время совершенно изолированный, отгребался как умел и даже пустил остроумную сплетню о богатой старушке, убитой в Петрограде. Это вконец взбесило капризного Адамовича... Но годы и такт Фельзена сделали свое дело; ко времени Народного фронта оба зоила начали дружески общаться на Монпарнасе – отчего мы все только выиграли.

По утрам, встречаясь с Фельзеном в кафе, до открытия выставки, мы пили неизменное какао; он закуривал свою “голуаз жон” (“из приличных сигарет это самая дешевая”) и медленно отпивал горячую бурду. Поглядывая на прохожих, обстоятельно рассказывал последние новости... Вчера, по дороге домой, он еще забежал в “Мюра”, где сражались в бридж “профессионалы”; не успел он подсесть к Ходасевичу, как в подвал спустился Оцуп и начал хамить, даже полез драться, так что пришлось вмешаться. Ходасевич в последней статье написал, что Оцуп занимается делячеством и живет с “Чисел”.

– Как ни странно, Оцуп, по-видимому, ожидал, что мы поддержим его, – задумчиво улыбаясь и внимательно взглядывая на севших неподалеку парижан, продолжал Фельзен. – Что значит выбыть из строя! Он потерял контакт с действительностью.

О том, что случилось вчера в “Мюра”, я мог узнать от десятка свидетелей. Но последнее замечание, что Оцуп рассчитывал на нашу благодарность и помощь, – это было типичным образцом фельзенизма. Вся его литература держалась на “психологизме”; высшей ценности он еще, кажется, не знал и в этом был верен себе. Он и Лермонтова так любил, потому что видел здесь начало русского психологического романа.

Но гораздо забавнее было слушать Фельзена, когда он делился впечатлениями прошлого. Повествования такого порядка жили в нем как некая автономная реальность: я чувствовал это тогда не меньше, чем теперь, и все еще не понимаю, в чем их подлинная ценность. Что таковая имеется, я уверен.

– Она мне давно нравилась, – мог начать Фельзен. – Мы изредка встречались у общих знакомых, ее муж разъезжал по торговым делам, и она часто приходила одна. Раз, прощаясь, я сказал: “Выслушайте и не сердитесь, пожалуйста. Уже поздно, дома вас сейчас никто не ждет, что, если бы мы провели остаток ночи вместе?..” И она без всяких ужимок согласилась. Очень мило, но у подъезда вдруг передумала. “Нет, неловко! В той же квартире, нехорошо как-то. Да и соседи могут заметить”. Это бывает, – объясняет Фельзен, – но я знал такой отель невдалеке. Кликнул такси, поехали. Только что заняли номер, она опять заметалась, чуть ли не плачет: в первый раз на такое решилась... Ну что это такое? Даме за тридцать, надо знать, чего хочешь. Тут я ее в сердцах ударил, – рассказывал Фельзен. – И представьте себе, она сразу успокоилась. Все сошло отличнейшим образом. Потом она мне сама признавалась, что я был совершенно прав. И у нас установились прекраснейшие отношения.

Другой эпизод, для сопоставления.

– Я вообще никогда не набрасывался на женщин. Наоборот, даже был чересчур застенчив... Вот раз сижу в “Ротонде”, перелистываю журналы, а за соседним столиком молодая женщина поглядывает в мою сторону. Я заговорил с ней. Жена музыканта, он постоянно в турне. Живут у метро “Мюзет”. Любит Скрябина и увлекается русским балетом. На прощание обменялись телефонами. Я не обратил особого внимания на все это, а через неделю за обедом вдруг звонок. “Вы уже пили кофе?” – “Нет еще”. – “Приезжайте ко мне”. Я купил бутылку “Курвуазье” и отправился. Ну, кофе, коньяк, поцелуйчики. Наконец она извинилась и вышла из комнаты; через минуту возвращается уже в одном халатике. И так неожиданно все вышло очень хорошо, хотя я, признаться, тогда был занят другими, важными для меня отношениями... Но слушайте дальше, – остановил он меня, предположившего, что это конец истории. – Вдруг она начала очень серьезный и даже грустный разговор. Она меня отнюдь не обвиняет, никто этого не мог предвидеть, но так вышло. “Я вас прошу забыть все, больше этого не случится! Если мы встретимся еще как-нибудь, то просто как старые друзья. Пожалуйста, извините, но не настаивайте”. Я согласился! – Фельзен несколько иронически развел руками. – В конце концов я никаких претензий не мог предъявить... И представьте себе, – после паузы торжествующе продолжал он, – через несколько дней опять звонок: нам надо встретиться! Условились в той же “Ротонде”. Длинное объяснение... с мужем давно не живет. В сущности, много обо мне думала все это время. Если мне это тоже подходит, то она согласна продолжать отношения.

– Ну! – ахнул я обрадованный и недоумевающий, как следует в таких случаях поступать. – Что же вы?

Фельзен снисходительно улыбнулся:

– Я ответил, что уже свыкся с мыслью о разлуке и теперь мне будет трудно перестраиваться на другой лад.

– Ну! – простонал я, чувствуя, что это был именно тот ответ, который надлежало дать.

Рядом с виллой, где Фельзен проводил лето с сестрой, поселилась молодая буржуазная чета, бездетная, но с пуделем. Обе семьи перезнакомились и проводили вместе много времени; а осенью разъехались и в Париже больше не встречались.

– И вот представьте себе, на днях я узнал, что они не женаты и в городе никогда на одной квартире не жили. Сестра случайно ее встретила, она теперь совершенно одна. Нет больше ни виллы, ни мужа, ни даже собаки: пудель тоже оказался чужим...

Фельзен несколько раз повторил последнюю фразу, словно с болью прикасаясь к тайне людских отношений, всегда интересовавшей его. Самый факт, что он рассказал об этой чете только теперь, несколько лет спустя, узнав, что “даже пуделя нет больше”, очень характерен.

Он обычно приходил на свидание в кафе первый и немедленно доставал из бокового кармана сложенные вдвое листки бумаги, покрытые ровным, мелким, разборчивым почерком: черновик. Где и когда он его писал, не знаю!.. Над этими строками, остро очиненным карандашом, он выводил все новые и новые слова. Подумает, почистит резинкою только что написанное и опять нанизывает буквы на том же месте. Благодаря острому карандашу правка получалась четкая и точная. Вот почему он ежеминутно прибегал к услугам крохотной машинки, которой пользуются школьники для очинки карандашей. Впрочем, эти паузы давали ему возможность оглядеть прохожих и подумать. Фраза Фельзена, синтаксически вывернутая наизнанку, все-таки производила впечатление четкой и как бы сделанной резцом.

Во время “смешной” войны он работал над новой книгой, предполагая ее назвать “Повторение пройденного”.

– Я сообщил Адамовичу про это заглавие, и он сказал: “Оригинально”, – говорил Фельзен.

Разумеется, он не врал, но я догадывался, что если бы Георгий Викторович отозвался неодобрительно, то Фельзен бы промолчал. Он никогда не повторял нелестного отзыва о себе; мы же, пореволюционное поколение, постоянно этим грешили. А Фельзен в таких случаях смотрел на нас с удивлением и жалостью.

Когда коллега, которого Фельзен дожидался в кафе, приближался к его столику, он рассеянно-приветливо улыбался, приподымался, пожимал руку и говорил “здрасьте”... Немедленно затем прятал в боковой карман свои листки до следующего удобного случая.

Время от времени распространялся слух, что Адамович, Ходасевич и Вейдле устраивают вечер, посвященный его творчеству. В Париже такого рода затеи, конечно, не возникали спонтанно. Недаром Ходасевич – по другому поводу – сочинил неаккуратное четверостишие:

Сквозь журнальные барьеры
И в Париже, как везде,
Дамы делают карьеры,
Выезжая на метле...

Стало быть, Фельзен должен был как-то подготовить всех этих лиц, обработать. Что он и делал, но незаметно, умело, с большим достоинством. В результате чего Гиппиус самым чудесным образом усаживалась на трибуне рядом с Ходасевичем и вторила Адамовичу в его анализе нового писателя.

В былые годы такого рода нелепости меня возмущали. Я не был более завистлив, чем любой другой русский литератор. Но меня угнетала безответственность этих начинаний, не менее безобразных, чем фашизм или коммунизм. Любимая цитата Адамовича из Пушкина: “Литература прейдет, а дружба останется...” – мне казалась родственной “Гавриилиаде”! И тут, и там – против Святого Духа. К тому же все это явная гиль. Не разберу, где теперь дружба Пушкина к Дельвигу и сочинения последнего, но стихи Пушкина – то есть литература, – по видимому, остались.

– В литературе, как в гимназии, – доброжелательно объяснял мне Фельзен, – очень важно первое впечатление. Иногда в начале года получишь скверный балл и потом уже носишься с ним до перехода в следующий класс, а то и до выпускных экзаменов – так трудно переубедить наставников.

В “Круге” Фельзен часто должен был себя чувствовать неловко. По существу, он казался арелигиозным человеком, совершенно лишенным теологической интуиции и чуждым церковно-философским спорам. Он поддерживал формальную демократию, уверяя, что этот режим – наименьшее зло из всех существующих, и руководствовался всегда трезвым, честным

разумом в век, когда мифы воздвигали тысячелетнее царство. В социальных вопросах он старался тянуться за нами, но души в это не вкладывал, ему как-то не верилось, что вследствие голода и эксплуатации люди начинают ненавидеть и уничтожать себе подобных... В наших спорах о христианстве он почти не участвовал; мне он признался, что Наташа из “Войны и мира”, ее любовь к князю Андрею ему открыли почти все евангельские истины. Меня это поразило и восхитило.

Несмотря на свою формальную ограниченность, Фельзен пользовался в “Круге” авторитетом и любовью. Он был с нами и в правлении “Круга”, и в редакции. Во внутренний “Круг” его не пригласили.

В редакцию альманаха вошло все правление и еще Адамович, кажется, хотя он не был членом правления.

Вот на этих многолюдных редакционных заседаниях, когда Адамович по обычаю отсутствовал, Гершенкрон цитировал древних греков, а я ссорился с Терапиано, вот тогда Фельзен неторопливо и трезво занимался делом. Аккуратный, умный, практичный, с очень тонким вкусом, он мог бы при других обстоятельствах стать выдающимся редактором большого журнала. Конечно, гнул определенную линию, защищал свое понимание искусства как в прозе, так и в стихах; причем и личных интересов не забывал.

Так, при первом еще номере возник вопрос, в каком порядке печатать материал: алфавитный хорош для преискурантов и эпигонов. Мы не должны бояться указать лишний раз на самое главное.

Фельзен предложил начать отрывком из покойного Поплавского и продолжать в порядке родственности к искусству последнего... В результате вторым после Поплавского оказался сам Фельзен, хотя трудно себе представить большую противоположность между восприятием жизни и преображением ее, чем у этих двух авторов.

После собрания редакции или правления на 130, авеню де Версай я часто попадал еще в кафе “Мюра”, где шла серьезная игра. Там всегда подвизалась теща Алданова – живая добрая старуха. Это она мне открыла великую истину, что с тремя тузами без другой поддержки не стоит открывать игры. Ее совет я воспринял с благодарностью, как всякое откровение, основанное на личном опыте.

Фельзен здесь, в жестоком подвале, все-таки “держал пропорцию”, подчас выигрывая.

– Как ни странно, я опять выиграл, – сообщал он, довольно усмехаясь. – Главное, совершенно без карт!

Он мне раз сообщил, что выиграть много неприятно: как Иван Ильич у Толстого, Ходасевич постоянно проигрывал, и, хотя это ему было не по карману, все-таки по-своему наслаждался.

Зная, что там собираются литераторы, Бунин с Алдановым иногда после ужина спускались в подвал, возбужденные вином и уткой, старчески болтливые, довольные и легко обижающиеся. Алданов в обществе Бунина претерпевал изменения.

– Пьесы Толстого довольно слабенькие, – сказал я им раз после проигрыша.

Надо было видеть священный ужас Алданова.

– У Толстого все хорошо!

Эта их любовь к Толстому становилась вредною, ибо она оборачивалась равнодушием, даже ненавистью ко всему последующему в литературе. Бунин по-гусарски рубил:

– Вот мне прожужжали уши: Пруст, Пруст! Ну, что ваш Пруст? Читал, ничего особенного! Надо еще Кафку посмотреть, наверное, тоже чушь.

Он напоминал героев Зошенко: “Театр? Знаю, играл”.

А в это время Фельзен разыгрывал свои карты, к концу с силою шлепая каждую отдельно по столу и приговаривая: “Пики, пики и опять пики...” – озорно, но не раздражающе.

Странное дело игра, карты. На Монпарнасе были поэты, писатели, обожавшие всякого рода азарт, а рядом такие же талантливые люди, никогда – формально – в игре не участвовавшие... Толстой и Достоевский – такие разные, а отношение к картам почти одинаковое. Бунин и Алданов, Зайцев были совершенно стерильны в смысле игры. Некоторые, как Фельзен, например, любили только коммерческие игры; Адамович, Ходасевич, Вильде, Ставров, Варшавский, Яновский играли во все – хоть в три листика. Не прикасались к картам Иванов, Ладинский, Терапиано и все наши дамы.

Летом семья Фельзена уезжала, и мне случалось заночевать у него; я спал в комнате племянницы. Утром прислуга подавала опять какао с круассанами. Догадываюсь, что к этому напитку в их доме привыкли с детства (в России, что ли).

Благодаря выставке зарубежных изданий мы превратились в каких-то специалистов. Секретарь Archives Internationales de Danse предложил нам устроить у них выставку книг, посвященных балету... (И маленькое жалованье.) Я не в меру удивился такой удаче, а Фельзен, подумав, сказал:⁵¹

– Это всегда так в делах, надо только попасть на рельсы, тогда вас уже понесет!

Я любил эти его сравнения и обобщения, чувствуя, что за ними стоит настоящий внутренний опыт. Такой опыт мы тогда ценили, быть может, чрезмерно.

Изредка он приносил на Монпарнас сверточки с крохотными сандвичами – черная икра, сыр, паштет. Это у его сестры был прием, и остатки “буфета” Фельзен притащил к нам. Ему доставляло удовольствие смотреть, как мы уписывали помятую снедь... В таких поступках было, вероятно, больше христианской любви, чем во многих наших эсхатологических разговорах.

Я тогда помогал доктору З., старому русскому врачу – непосредственно из Берлина, – начать практику во Франции. Умница и неудачник, очень опытный и слегка циничный, он пытался связать воедино разные, противоречивые терапевтические школы. Пациенты доктора З. были заняты весь день гимнастикой и салатом из тертых яблок, так что у них не оставалось времени, чтобы хандрить. Я к нему посылал кое-кого из литераторов и меценатов.

Фельзен пошел разок к нему, а потом привел сестру, которая и начала после этого прыгать голая по квартире, шлепая себя мокрыми полотенцами. Вот тогда Николай Бернгардович пустил свою знаменитую шутку:

– Надо иметь железное здоровье, чтобы лечиться у доктора З.

Когда поздно вечером мы выходили из “Селекта”, направляясь в “Доминик”, в кафе еще оставались двое литераторов: Шаршун и Емельянов. Фельзен, улыбаясь, точно расшалившийся гимназист, тихо говорил, указывая на них глазами:

– Веселые ребята.

И это было очень смешно, ибо все что угодно, но веселья эти “ребята” не навевали.

В парижской жизни уборные почему-то играли большую роль; раза два за длинный вечер все спускались туда – помыть руки, пригладить волосы, наконец, быть может, заговорить с какой-нибудь шикарной девочкой. Там на торцах или решетках лежали, свернувшись, европейские нищие, разительно похожие на евангельских... Над их головой тихо шумела вода. В предутренние часы, после зря потраченной ночи, хотелось проникновенно молиться. Такие настроения Фельзену были решительно чужды.

Пользуясь любовью всех нас, и даже “генералов”, он, однако, не растерял своих старых биржевых связей. Фельзен был среди них белой вороной, но все же пользовался и там уважением.

Какие-то громоздкие, странные люди иногда подходили к столику Фельзена, широко улыбаясь, здоровались, заговаривали по-немецки. Кое-кого он приглашал сесть; появлялась

⁵¹ Международный архив танца (фр.).

бутылка коньяка (приезжие вместо рюмки заказывали целую бутылку, гарсоны уже этому не удивлялись). Червинская воцарялась в центре, другие скромно устраивались на отлете, но с полными стаканами.

Вот не без какого-то отношения к этим спекулянтам и собственным родственникам Фельзен и погиб! Вскоре после начала войны сестра с мужем перекочевали в Швейцарию, где они проживают, кажется, и по сей день. Фельзен с глухой старушкой-матерью остался в Париже – ликвидировать дела своего “бофрера”. Он должен был получить какие-то миллионы или миллиарды франков и отвезти их в Женеву. Но деньги ему все не давались: аферисты откладывали окончательный расчет. Тут следует отметить, что в разбазаривании Франции в годы оккупации иностранцы принимали живейшее участие, как и в героизме резистанса. Французы часто не умели или не желали общаться с немцами... Картины, которые Геринг собирал для своей тысячелетней коллекции, прошли через многих и неожиданных посредников.⁵²

Весною 1941 года я встретился с Адамовичем в Ницце; он мне показал открытку от Фельзена: “Я теперь не бываю у Мережковских, – минорно оповещал Фельзен. – Там теперь бывают совсем другие люди”.

Кстати, тогда же Адамович мне рассказал об открытке, полученной недавно Буниным от Б.; она приглашала Ивана Алексеевича вернуться из свободной зоны в Париж, уверяя, что “теперь объединение всей русской эмиграции вполне возможно”.

– Стерва, еще подводит идейную базу! – решили мы, посмеиваясь. Но письмецо Фельзена прозвучало очень грустно.

Судя по рассказам, часть денег все-таки была собрана Фельзенем, а остальные ему обещали доставить в Лион. Устроив мать в Париже на попечении доброй души, он перебрался в Лион, где опять застрял, теряя драгоценное время, дожидаясь вестей от жуликов. Может, были еще какие-то причины его медлительности, но никто об этом до сих пор не сообщил.

Наконец Фельзен со всеми суммами или только частью, не знаю, отправился в Швейцарию. Меньше ста лет тому назад тою же дорогой, но дилижансом, бежал Герцен.

Фельзена ждали к чаю в Женеве, так утверждает Е. Кускова в ее споре со мною (“Новое русское слово”, 1955)... Но не дождались. С тех пор след его не отыскался. По-видимому, немецкий дозор задержал всю группу; впрочем, если бы Николай Бернгардович оказался в плену, то дал бы о себе знать хоть раз. Думаю, что он там же погиб, на границе.

Однажды, перед войною еще, Национально-трудовой союз, где нашел себе единомышленников Иванов, устроил в Лас-Казе собрание, посвященное почему-то литературе... На этом вечере главным образом и ожесточенно ругали Адамовича, награждая его всеми милыми сердцу эпитетами – от Смердякова до Иуды... Из задних рядов бросали и “подлеца”, и “жида”. Тогда Фельзен попросил слова, защищая не столько Адамовича, сколько нашу новую литературу, обязанную всем Адамовичу! Он говорил тихо, твердо и с обычным чувством меры, так что даже импонировал довольно дикой, смешанной аудитории.

Я хочу сказать, если бы Юрий Фельзен вздумал скрыть от немцев свое еврейское происхождение, то это бы ему наверное удалось.

Не знаю, где и при каких обстоятельствах погиб Николай Бернгардович, но не сомневаюсь, что, умирая, он не изменил своему природному мужеству и чувству собственного достоинства, не проявил ни слабости, ни страха и, главное, не просил у врагов пощады.

⁵² Шурин (фр.).

III

Пушкин – это Империя и Свобода.
г. федотов

Худое молоджавое лицо; густые византийские брови. Доцент с ленинской бородкою. Вкрадчивый, мягкий, уговаривающий голос с дворянским “р”. Общее впечатление уступчивости, деликатности, а в то же время каждое слово точно гвоздь: прибавляет мысль – ясную, определенную, смелую.

В статьях Георгий Петрович был чересчур литературен, цветист и этим подчас раздражал, особенно незнакомых. Но если услышать стоящий за фразой голос с неровным дыханием (сердце, сердце!), мягкий, музыкальный и в то же время настойчивый там, где дело касалось последних истин, то к произведениям Федотова прибавлялось как бы еще одно измерение. И независимо от того, соглашались ли мы с “лектором” или нет, у нас зарождалось какое-то горделивое, патриотическое чувство: какая-то великолепная смесь, новая и вполне знакомая – Россия и Европа! Такие люди, соединяющие музыкальную податливость с пророческим гневом, ненависть и любовь к родной истории, встречались главным образом на той Руси, которая всегда чувствовала себя Европою. Печерин, Чаадаев, Герцен, может быть, Соловьев.

Кстати, Германия, несмотря на весь свой исторический блуд, не выдвинула ни одного крупного мыслителя, который бы отважился покаянно изобличить свой общенародный грех, вскрыв основную национальную язву.

В Федотове внешне все было переменчиво, противоречиво и неустойчиво, все, кроме его вселенского православия и формально демократических убеждений. Соединение этих двух начал, вообще несколько необычайное, создавало еще одно мнимое противоречие, отталкивающее многих возможных союзников (но и кое-кого из врагов привлекавшее).

В Париже тридцатых годов я часто встречался с Георгием Петровичем, почти ежевечерне. На собраниях “Круга” и “Внутреннего круга”, в “Пореволюционном клубе” Ширинского-Шихматова и т. д.

Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который в основном признавал ответственность православия за русскую историю. И с какой радостью он цеплялся за все новое, прекрасное, пускавшее ростки вокруг нас в эмиграции.

– Вот теперь, – взвизгивал он, – после матери Марии социальное дело вошло уже навсегда в православную церковь, и другим остается только его продолжать...

К разряду редких явлений относилась также исповедуемая Федотовым идея демократии. Впервые в русской мысли православие сопрягалось, в идеале, с формальной демократией, доказывая этим на деле, что нет никаких канонических причин обязательно цепляться за кесаря, наместника или главу.

Чем могло бы стать такое православие, свидетельствует тот факт, что в Париже тех лет почти все кинулись в лоно русской церкви. И не только равнодушные, коренные скептики, но и французские католики, русские еврейского вероисповедания, даже воинствующие атеисты.

Принято говорить об особой ноте парижской литературы (или поэзии), но это явное недоразумение. Особая парижская нота наблюдалась и в философии и теологии, в политической деятельности и в живописи, даже в шахматах. Весь дух был другой, и происходила на наших глазах чудесная метаморфоза. Латинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческою удачей. В этом смысле о. Булгаков, мать Мария или Федотов не менее животворящи для будущей, новой, Европейской России, чем наша молодая литература.

Белый французский хлеб и красное вино питали всех одинаково, а римское восприятие национальности как юридической принадлежности, без критерия расы или религии, оказалось настоящим откровением.

Георгий Петрович в этом творческом расцвете сыграл свою роль, может быть, именно благодаря своей внешней двойственности. Он стоял посередине между философией и теологией, между историей и поэзией, литературой и политикой, одинаково дорожа русским ранетом и бургундской грушею дюшес, прошлым и будущим, бытом и бытием, ничем, в сущности, не желая поступиться в рамках европейского христианства.

Недаром Поплавский раз в виде упрёка ему сказал:

– Вот вы, если бы это понадобилось, никак не согласились бы ради своих убеждений взорвать Шартрский собор!..

И сидевший тут же Мережковский обрадованно поддержал:

– Вот, вот, видите, в чём дело.

Не помню, что ответил Георгий Петрович, думаю, что он действительно не был способен взрывать готические соборы. И не обязательно по малодушию.

А во время испанской войны Георгий Петрович написал статью о Пассионарии, признавая за последней историческую правду. Это выражало тогда чувства большинства из нас.

Испанская кампания была поворотным пунктом в жизни многих европейцев. Мы очнулись от прекрасного религиозно-поэтического обморока. Гражданская война застучала безобразным кулаком по кровле нашего быта, и приходилось выбирать в союзники меньшее зло. Некоторые сразу уехали в Мадрид; другие все собирались туда. Кровно, идейно и традиционно большинство из нас было связано с законным республиканским правительством. История повторялась: опять ни Ленин, ни Колчак. Демократия ещё раз профукала страну. А если вовремя ограничить свободу граждан, арестовать генералов и коммунистов с анархистами, железной рукой направить экономику, давая работу и хлеб населению, то, пожалуй, удастся ещё спасти режим... Но что же тогда останется от демократии? В этом заключалась квадратура круга. “Христианство и демократия” – утверждал “Новый Град” Фондаминского и Федотова, и им вторил из Германии Степун. Но что это означает на практике? Где и когда такой режим осуществлялся? Если обязательно нужны полицейские и работники ассенизационного обоза, то не лучше их заводить автономно от Евангелия и Святой Троицы...

Статья Федотова о Пассионарии эмоционально отвечала на многие “проклятые” вопросы, примиряя со злейшими противоречиями. Многое кругом становилось если не яснее, то хотя бы приемлемее. Недаром один профессор православного института, где преподавал Георгий Петрович, некая светлая личность, потребовал исключения Федотова, “тайного масона и марксиста”. Богословский институт поддерживался англиканскими филантропами, и одернуть эту “светлую личность” оказалось делом нетрудным. Но потасовка такого рода стоила Федотову много внутренних сил, впрочем, она же сблизила его с молодыми литераторами.

Фондаминский ежедневно затевал новое эмигрантское объединение, а идеологически его оформлять должен был все тот же бедный Георгий Петрович, вплоть до юбилейных спичей и поздравительных адресов. Приходилось часто удивляться, как его хватает на такой подвиг. Но душа заметно уставала от сплошных “банкетов” под опекою Ильи Исидоровича. К тому же надо было жить и кормить семью, что тоже изматывало живую силу.

Летом Федотовы уезжали на дамских велосипедах к Луаре и дальше, по долине реки, мимо рыцарских замков и средневековых церквей. Георгий Петрович обожал галльскую землю, её импрессионистскую зелень и строгую готику, её белый хлеб и кисленькое вино, сыры и вспыльчивых, горячих, но изумительно толковых французов, где в сутенере и проститутке звучит логика Паскаля и Декарта.

Бунин выпивал бокал “Клико” и залихватски клялся, что в Москве и шампанское лучше! А стерлядь, а икра, а Волга... За сим следовал весь кухмистерский вздор казака Крючкова.

Федотов знал величие французской истории. И не спорил, когда я доказывал, что культура началась вокруг Средиземного моря у народов с карими глазами. Но он всегда, с непоколебимым мягким упрямством, старался обратить наше внимание на ужасы революций латинского мира. Вопрос, была ли в Англии когда-либо революция, занимал нас тогда всерьез. Тема сводилась к одному: можно ли очеловечить похабный режим без братоубийственных мутаций?

Наступили роковые осенние дни 1938 года, кончившиеся после частичной мобилизации полным поражением в Мюнхене. В разных эмигрантских углах сразу зашевелились многочисленные аспиды, готовясь присоединиться к обозу Гитлера. Федотов, единственный в нашем кругу, был за Мюнхен. Этого мы долго не могли простить ему. Пассионария и Мюнхен; обе эти половинки одинаково важны для уразумения Федотова.

Рассуждения его приблизительно сводились к следующему: современная глобальная война приведет к окончательной гибели старой неповторимой Европы, независимо от победы или поражения. Так что лучше отсиживаться за линией Мажино и продолжать молиться, строить соборы, писать стихи – пока есть еще малейшая возможность всем этим заниматься!

А мы возражали: “Даже если линия Мажино отвечает своему назначению, от затхлого воздуха разлагающихся рядом живых и мертвых трупов задохнется любое свободное творчество, иссякнет последняя вдохновенная молитва, потеряют убедительность лучшие архитектурные монументы”.

Зимой того же года был создан наш внутренний “Круг”, некий орден, которому надлежало конспиративно существовать и бороться в надвигающейся долгой ночи. И мы все единогласно высказались против кандидатуры Г. Федотова.

– Это же курам на смех! – вопил Фондаминский. – Вы С. Жабу принимаете, а Георгия Петровича забраковали. Это ведь курам на смех! – повторял он свое любимое выражение. – Вы разошлись с Федотовым по одному вопросу. Но Мюнхен миновал: это уже прошлое. Теперь возникают новые темы, где Георгий Петрович может оказаться впереди нас всех...

Действительно, получался анекдот. И Федотов с супругой были приглашены в наш “Внутренний круг”. Очень знаменательно для наших тогдашних настроений, что Е. Федотова (как я уже, кажется, писал) на первом же организационном собрании резко осведомилась:

– Меня главным образом интересует, будем ли мы и здесь только болтать или, может быть, начнем бросать бомбы?

Уже в Нью-Йорке к концу войны мне пришлось “экзаменовать” Федотова. Тогда И. Манциарли, Елена Извольская, Лурье и я начали издавать “Третий час”, журнал экуменического и пореволюционного толка. В каждом номере, подчас на разных языках, мы печатали статьи Бердяева, а Федотова, бывшего здесь, рядом, не приглашали даже на наши собрания, наказывая его за непримиримое отношение к Советскому Союзу – в пору Сталинграда! Вспоминаю, как Федотов раз днем пришел к Извольской: мы с ней, по-видимому, должны были выяснить, подходит ли он для “Третьего часа” – достаточно ли хорош!.. Федотов был уже очень болен, после очередного припадка говорил неровно, спадающим голосом и отпивал маленькими быстрыми глотками красное вино, которым “Третий час”, верный старой парижской традиции, всегда угощал собравшихся. Невесело посмеиваясь, Федотов говорил:

– Вы меня не принимаете, а Казем-Бека печатаете...

И я услышал старое “курам на смех” Фондаминского. Расставаясь, он с грустью как бы подвел итоги беседы:

– Теперь между нами настоящих расхождений еще нет. Вы хотите разгрома немцев и торжества сил демократии, того же и я жажду. Наши расхождения начнутся на следующий день после победы.

Подобно Черчиллю, но значительно раньше, Федотов утверждал, что советскую Россию надо держать подальше от Европы, а Европу целиком временно заморозить, иначе все прогнившие части развалятся и не будет больше Европы! Я с ним спорил. Но теперь вынужден

признать, что основная его интуиция была правильной. Вообще, всей своей правды о России, о ее истории, церкви, даже народе Федотов, по-видимому, не решался высказать.

– Россия должна надолго вернуться в Европу школьницей, младшей сестрою, или ее спеленают, отбросят на Восток, расчленят!

Так я понимал подчас его речи, и они мне казались бредом. Только в свете последних “китайских” ходов истории пророчества Георгия Петровича становятся полной реальностью. И никакие спутники Луны здесь не помогут, как не помогли немцам “Фау-1” и “Фау-2”. Погибает тот, кто борется против всего мира на два фронта.

Аа

Вся тяжесть идеологической борьбы в “Новом Граде” покоилась на плечах Федотова. И.И. Фондаминский был, главным образом, организатором, планировщиком. Георгий Петрович должен был лить живую воду в проложенные трубы.

Илья Исидорович считался у эсеров блестящим оратором, что вместе с красноречием Керенского тоже относится к загадкам эпохи. Мы слушали Фондаминского с улыбкою. Когда раз перед ответственным выступлением я посоветовал ему говорить покороче и отнюдь не больше сорока минут, он искренне удивился.

– Мне случалось говорить подряд четыре часа, и тоже все слушали, – застенчиво похвальнолся он.

И он не врал, конечно. Солдаты на фронте перед летним наступлением пьянели от речей Керенского, а матросы носили на руках комиссара Черноморского флота Фондаминского. Затем Чхеидзе... Все тогда считались Жоресами русской революции. Наваждение? Глупость? Глупость отдельных людей или целой эпохи?

Мне было неловко слушать Керенского или Фондаминского, точно перед голым королем – вот-вот народ догадается об этом. Оба они были эмоционально очень талантливы, но по-разному ограничены или просто неумны. Я всегда страдал при их выступлениях, с нетерпением дожидаясь конца, точно признавая и свою долю ответственности за этот детский лепет.

Павел Николаевич Милуков звучал совсем в другом ключе: нечто чужое, трехмерное, но практически устойчивое, защищенное если не от урагана, то хотя бы от случайного дождя.

Фондаминский распылял свои силы, стремясь проникнуть в максимальное число организаций или кружков, чтобы повсюду рассказывать о русском гуманизме, о демократии, о великом интеллигентском ордене. Предполагалось, что если его или нас приглашают, то этим самым еще одна позиция завоевана – светлыми силами!

Я упорно указывал на то, что в сущности нет ни одного места за пределами квартиры Фондаминского на 130, авеню де Версай, где мы могли рассчитывать на пятьдесят один процент голосов. И это ставит под сомнение разумность нашей тактики. Кроме того, мы литераторы, и совершенно нелепо подвизаться в стольких кругах и кружках, не имея собственного журнала.

Фондаминский этого не понимал: к тому же создавать конкуренцию своим “Современным запискам” ему, разумеется, не хотелось. Будучи “профессиональным оптимистом”, он неизменно повторял:

– Подождите, подождите, мы скоро завоюем “Современные записки”.

Но меня поддержал Федотов; присоединилась и молодежь, главным образом активный в келейных переговорах Софиев. Не помню подробностей, но на очередном собрании правления Фондаминский заявил нам, что будет альманах – “Круг”!

По инициативе Георгия Петровича мы начали регулярно собираться раз в месяц на агапы. В библиотеке Фондаминского расставлялись столы, накрытые скатертью, на них бутылки красного вина, сэндвичи, фрукты. Вместо обычного доклада “Круга” с прениями –

только дружеская, непосредственная беседа за полночь. Минутами чудилось, действительно: любовь, Каритас, витает кругом и преображает... А время между тем приближалось паскудное. Многие из присутствующих уже были отмечены роком: мать Мария, Фондаминский, Вильде, Фельзен, Мандельштам... все одинаково и каждый по-своему.

Увы, другие, подобно Иуде, позвякивали новенькими сребренниками, обеспечив себе место в обозе Гитлера.

Когда я мысленно разглядываю все эти лица, одухотворенные предстоящими страданиями или отмеченные печатью Каина, меня поражает главным образом полное отсутствие сюрпризов в нашей среде. Все карты были давно на столе и открыты: в этом смысле игра велась почти честно.

Раз в неделю, кажется по вторникам, Федотовы принимали у себя в “студии”. Там, вокруг девиц, дочки Нины и ее подруг, базили срывающимися голосами семинаристы православной академии; заглядывали туда и монпарнасцы, часто Софиев.

Георгий Петрович вел себя подчеркнуто наставником и отцом, только на минутку позволяя себе увлечься разговором, сразу стихая и поблескивая загадочными византийскими глазами под гусеницами бровей.

Софиев там и романсы пел, и стихи декламировал, вел себя не то молодым офицером, не то студентом – вообще пользовался успехом у дам. Благодаря ему и будущие батюшки проникались тоже романтическими тенденциями. Бывала там молодая хорошенькая женщина, мать двоих ребят, а в числе семинаристов являлся уже в монашеской рясе некто Ж. Он жадно мечтал о карьере иероманаха и писал свою диссертацию на тему монашества, сравнивая эту желанную дочь с невестой Господней из Песни Песней. Итак, Ж. увлекся молодой матерью, и она сбегала от мужа. Но Ж. потом стал жертвою еще других соблазнов: он уехал в Англию, женился на дочке англиканского пастора и стал священником епископальной церкви.

Этой атмосфере молодежи и флирта хозяин не только не мешал, но даже каким-то эзотерическим путем способствовал...

Внешне Федотов со своей бородкою всегда выглядел профессором среднего возраста, серьезным мыслителем, публицистом. И одевался он совсем не романтически, даже, вернее, скверно, неряшливо одевался. Новое платье мы все в Париже редко себе покупали. Главным местом снабжения являлся блошинный рынок, где иногда попадались замечательные вещи из богатых и спортивных домов. Но Георгию Петровичу и это не подходило. А костюмы, которые ему дарили добродушные меценаты, были все как на подбор темные, скучные и, главное, не по мерке.

Вообще, я бы сказал, в нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые имевшие деньги как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги – грех, никто в русском Париже не сомневался. Так, Фондаминский наконец появился в новеньком коверкотовом костюмчике и долго виновато объяснял:

– Друзья заставили заказать... Мне это совсем не нужно, но они говорят: “Стыдно вам щеголять в рубищах!”

Поплавский злословил: “Дай русскому интеллигенту пояс к брюкам, и он все-таки напялит еще помочи, ибо нет у него ни уважения, ни веры к собственному брюху”.

Действительно, в летнюю жару, когда Федотов снимал пиджак, на нем красовались и пояс, и подтяжки.

Но объяснялось это главным образом тем, что брюки были чужие, совсем не по мерке. В Нью-Йорке чуть ли не при первой нашей встрече Федотов у вешалки напялил на себя пальто с таким необъятным клешем, что все кругом только развели руками.

И вот, несмотря на свою подчеркнутую внешность пожилого профессора и неряшливую одежду, какие-то определенно сексуальные, податливые, убаюкивающие, женственные флюиды щедро истекали из Георгия Петровича с ощутимой силой. Есть такая русская линия эро-

тизма – от Достоевского, Соловьева, Розанова... Тут древние боги уживаются с Византией, церковью и Ветхим заветом. Вот такое магнетическое поле явно ощущалось вокруг Федотова.

Был это, в сущности, не совсем на своем месте человек, не сумевший или не отважившийся вполне выразить себя. Думаю, что Федотов вздыхал с огромным облегчением, когда оставался наконец наедине с книгой и стаканом невкусного чая.

Припоминаю, как однажды на Вест-Сайд, в Нью-Йорке, к Федотову ввалились громоздкие носильщики, не то чтобы увезти пианино, не то чтобы его перетащить на другой этаж. Нина Федотова в молодости усиленно музицировала. Начались переговоры между дамами и черными атлетами. Какие-то формальности не были соблюдены, и возникали мелкие затруднения. В это время профессор, подхватив единым, несколько унижительным движением и чай, и книгу, и полы халата, вознамерился незаметно юркнуть к себе в комнату, но дочь и жена тут же, в один голос крикнули: “О, трус!” – чем обратили мое внимание на эту знаменательную сцену. В разных сочетаниях я еще несколько раз в жизни наблюдал такое его вихревое, “предательское” движение прочь в самый разгар каких-то житейских, практических передрыг. Это не было только трусостью: он отдавал себе отчет в своей полной деловой беспомощности.

Приближалась страшная осень 1939 года. Еще в августе лучшие экспонаты скандинавских блондинок наводняли Париж: такой жажды греха и продолжения жизни Монпарнас, по утверждению старожилов, давно не испытывал. Люксембургский сад изнемогал под тяжестью цветов и похоти.

Наконец радио передало о дружеской встрече Сталина с Риббентропом в Москве. И вскоре в актуалитэ мы увидели, как поляки пускали свою конницу против тяжелых танков Круппа. Всадники, по экипировке похожие на ахтырских гусар, бросались на стальные башни, извергавшие огонь, и тут же превращались в дымящееся мясо. И только глупцы типа Сталина и Гитлера могли думать, что им удалось покончить с рыцарской Польшей.

А 1 сентября, кажется, в газетах мелькнула наконец энигматическая фраза: “Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией” – *dans un etat de guerre. Mobilisation générale.*⁵³

Скрещенные силуэты двух трехцветных флажков на афишах: в который раз! Все двинулось и поплыло с ружьями на тесемках и без обойм, в голубых бумажных мундирах 1918 года. На забранном досками окне соседнего бистро надпись мелом: *закрыто pour la durée.*⁵⁴

В Люксембургском саду бассейн, где плавали осенью жирные карпы. Эта игрушечная водная гладь, оказывается, может служить ориентиром в лунные ночи для вражеской авиации. (Правительство все предвидит!) Бассейн распорядились немедленно осушить: первая всенародная казнь рыб!

В кустах против Сената расположилась противовоздушная батарея. И солдатики в обмотках и тяжелых башмаках, вооружившись сетками, зашагали по колено в воде, вдохновенно выуживая отупевшую рыбу. От зноя спины взопрели, тонкие юношеские шеи под расстегнутым воротом гимнастерок темнеют крестьянским загаром. И только чуть-чуть крупные, тяжелые, но приплюснутые носы галльских, франкских и южных хлеборобов свидетельствуют о том, что это Европа, Запад, Франция, первая дочь католической церкви, а не православная, хозяйственная, кондовая Русь, согнанная из деревень мудрым начальством для борьбы с исконным врагом.

А рыба, между тем поднятая из воды, страдала, с упреком разевала рот и грозно-жалостливо обозревала безоблачное небо: неизгладимое, романское, благоухающее небо Парижа.

⁵³ ... в состоянии войны. Всеобщая мобилизация (*фр.*).

⁵⁴ На неопределенное время (*фр.*).

Я спешил на собрание правления “Круга” и явно опаздывал: никак не мог оторваться от мудрой толпы, от этого исторического детского сада, от волшебного сияния чужой и благодатной стихии. (Впрочем, потом, когда бедствия захватили народ всерьез, толпа начала разыгрывать свою роль по классическим образцам: за день до прихода немцев я у метро “Конвансион” пережил нечто напоминающее казнь Верещагина.)

Итак, я спешил на собрание “Круга”, но не попал туда – завертелся в общем героическом и праздничном вихре. В парке, перед дулом одного противовоздушного орудия, торчала ветвь молодого деревца: ее собирались уже отпилить. Но солдатик вдруг догадался и торопливо подвязал бечевкою ветку, так что зелень больше не мешала панораме. (Даже стройный фельдфебель блаженно улыбнулся, радуясь спасению невинного деревца.) Где ты, милый пуалю из Ланд или Прованса? Кто через год сбросит твой окоченевший труп в тесную немецкую могилу? А может, ты убежишь из плена и станешь героем черного рынка, уверяя, что не стоит воевать за евреев и иностранцев?

Уже с самого начала войны мы сразу как-то магически закружились. Личная и деловая жизнь претерпевала коренные изменения. Многие были мобилизованы или записались добровольцами, другие ожидали повестку с вызовом в армию и чувствовали себя настоящими рекрутами. Менялись условия работы и открывались новые сексуальные возможности; семьи перетасовывались, как картинки в колоде карт. А интеллектуальные встречи становились все реже и жиже: музы смолкают в обществе пулеметов.

Но Фондаминский затеял новый кружок – франко-русский. Там эмигрантские “генералы” должны были спорить с французскими *intellectuels*. Из последних я знал только Габриеля Марселя, ставшего вскоре вождем католического экзистенциализма. Нас, молодых, Фондаминский за недостатком места не пригласил. Я счел это оскорблением и явился на первое собрание непрощеный. Фондаминский только вздохнул, впуская меня.⁵⁵

Когда я пожаловался Федотову, он, понимая, посмеиваясь, сказал:

– Он и со мной так поступает. У Ильи Исидоровича для каждого особый балл. Вам, скажем, дается десять, а мне двенадцать, вот и вся разница.

Эти собрания не оправдывали моих надежд, и я перестал их посещать. Бердяев говорил о национальной душе. Габриель Марсель (и еще кто-то из Сорбонны) возражал очень трезво:

– Все это очень мило и интересно, однако мы теперь находимся в состоянии войны с безжалостным врагом и должны его победить любой ценой.

Такого рода практические речи производили нехорошее, скучное впечатление – слишком уж просто и плоско. Несмотря на то что все мы приветствовали эту войну и считали ее священной, о конкретной победе никто не думал и общее настроение было вполне апокалипсическое. Можно утверждать, что, наученный горчайшим опытом, весь русский спектр эмиграции бессознательно ждал катастрофы и в победу не верил. “Да, – думали многие из нас, – солнце когда-нибудь взойдет. Но пока наступает длинная ночь, и надо через нее брести”.

Наступила зима “смешной” войны, в которой, впрочем, ничего забавного не наблюдалось. Новый, 1940 год я встречал у Федотовых. Из наших старших пришла только одна мать Мария. Фондаминский обещал заглянуть, но застрял по пути. Была еще семья Ольденбургов с Зоей, тогда скромной лицеисткой, а теперь знаменитой французской писательницей. Мы с женой привели еще кого-то с Монпарнаса – для девиц. Водка, вина. И селедка, салаты, винегреты, ветчина – все как полагается, но радости не было. Эта встреча Нового года скорее походила на похороны. Мы крепились, старались по-обычному шуметь, веселиться, пели, произносили патриотические речи, чокались. Но что-то не клеилось: наше нутро знало некую правду, которую сознание отказывалось принять.

⁵⁵ Интеллектуалами (*фр.*).

Для многих это был последний год во французском Париже, а для некоторых вообще последний год жизни. И мы хоронили старую, прекрасную, нищую, творческую галло-русскую жизнь и заодно с нею блистательный европейский гуманизм. Навстречу нам шагали неоканнибалы, неокаины, неопрIMITивы. История кружила по спирали. Герцен так описывает встречу Нового, 1852 года: “Подали обычный бокал в двенадцать часов – мы улыбнулись натянуто, внутри были смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться”.

У нас в полночь Георгий Петрович заставил себя произнести спич с обычным в таких случаях условным пафосом. Затем говорила мать Мария. Повязанная черным платком, болезненно румяная, курносая, русская, она все же походила на св. Терезу Испанскую. Не помню, что она сказала, но особого оптимизма она тоже не проявила.

Кое-как, то увязая клювом, то хвостом, перевалили через эту “смешную” зиму и заплатили с трудом весенний квартирный “терм”.

В Париже по-обычному расцвела сирень. В сумерках газовые фонари бросали зеленый свет. Жизнь торжествовала, и аборигены перестали таскать с собою противогАЗы в нелепых коробках.

А 10 мая немцы прорвали фронт у пресловутого Седана и ринулись к морю. И денька через два-три все обыватели догадались, что война почти проиграна: Париж будет сдан.

В гараже, у метро “Пастер”, на соломе, уже спали беженцы из Лилля... До чего похоже на вшивые русские вокзалы или на общежития времен испанской кампании. Вообще, в бедствиях народы становятся похожими друг на друга. Это только удача и богатство развивают в них новую спесь.

После долгого перерыва я отправился к Фондаминскому собрать нужную информацию: в конце концов, эти ветераны катастроф имеют связи и должны знать досконально, к чему теперь надлежит готовиться.

У Ильи Исидоровича днем в освещенной весенними лучами солнца столовой я застал Соловейчика, Ивановича и еще несколько такого толка знакомых. Они были углублены в странное занятие: сверяли по спискам имена разных людей, преимущественно зубров. Как я понял из дальнейшего, Керенский еще в начале мая отправился в комиссариат полиции 16-го аррондисмана и сделал заявку на пропуск из Парижа для “всей группы”.

После объявления войны иностранцам, разумеется, было запрещено разъезжать по Франции без особого позволения. И теперь Соловейчик отправлялся в участок получать желанные свидетельства, решив предварительно сверить по списку имена зарегистрированных, ибо некоторые воспользовались уже другими оказиями и давно смылись.

Фондаминскому не пришло в голову включить кого-нибудь из нас, молодых, в эти списки; позже прислали из Америки “чрезвычайные” визы опять-таки только для уже известных всем, заслуженных деятелей.

Между прочим, я именно в эти дни старался выпроводить свою беременную жену из столицы и не мог получить *sauf conduit*. О себе, разумеется, в смысле разрешения на выезд я не беспокоился.⁵⁶

Однако Фондаминский с умеренной заботливостью меня спросил:

– А вы что собираетесь предпринять?

В понедельник, 10 июня, под вечер, я очутился у Федотовых. Кажется, я пытался включить жену в караван друзей, покидающих Париж легально.

Оказалось, что Георгий Петрович не успел еще получить своего пропуска и собирался завтра смотаться к Фондаминскому за документом. Я советовал выезжать пораньше, поездом, невзирая уже ни на какие комиссариаты и не теряя драгоценного времени.

⁵⁶ Пропуск (*фр.*).

– Выйдите на улицу и понюхайте пустые улицы, – сказал я, – вы поймете, что ворота города открыты.

Это выражение понравилось Е.Н. Федотовой, и она, споря с мужем, в сердцах повторила: – Вот именно, выйди и понюхай! Никаких удостоверений больше не надо.

На этом мы расстались. На следующий день мне удалось усадить жену в поезд. Сам я выехал всего только на день позже, 12 июня. 13-го, к вечеру, немцы были уже у застав Парижа.

В Пуатье многие русские высадились; в сущности, мы не знали, что происходит. Мне все еще мерещилось, что на Луаре будет оказано сопротивление: новые армии займут левый берег и мы все выполним свой долг. Это отсутствие правильного понимания обстановки, вероятно, стоило жизни многим милым людям.

В Пуатье я и семья Гржебиных, к которым меня прибило, потеряли несколько драгоценнейших дней (в течение которых “оптимисты” получали транзитные визы и переходили границу у Ируна). Там, в Centre d’Assueil, я столкнулся с заблудившимся Гершенкроном, ценнейшим сотрудником “Круга”, он собирался поселиться в знаменитом монастыре под Пуатье. Всегда болезненный, он теперь был не в меру раздражен и тоже не отдавал себе отчета в происходящем. Как общее правило, никто не мог сразу примириться с мыслью, что Франция капитулирует. Кроме того, увы, наши материальные дела не были в блестящем состоянии. Так, Гершенкрон почти сразу начал жаловаться на мать Марию: они встретились на Лионском вокзале, случайно, в толпе. Уезжали Мочульский с Юрой, сыном матери Марии – она оставалась в Париже. У них у всех были заранее приготовленные билеты вместе с пропусками Керенского. Но Юре не хотелось покидать Париж, и он упросил мать позволить ему остаться. Тогда Гершенкрон, бедняга, купил Юрин билет, заплатив наличными.⁵⁷

– Зачем мне нужен был этот билет! – негодовал он теперь в Пуатье, очевидно, издержав уже последние деньги. – Проехали же вы без всяких билетов.

Вот там, в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного мужского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на “педалях” в четыре, пять дней – благо подвернулся толковый спутник.

Дороги Франции до колдовства хороши летом; но все же карта Мишлен пестрит от стрелок “крутых подъемов”. Этот пробег на велосипедах – и не для осмотра готических замков – был последним спортивным упражнением профессора Федотова. В Нью-Йорке он вскоре заболел коронарным тромбозом, от которого впоследствии и умер.

Там, в Пуатье, мы опять попрощались; Федотов побежал в винную лавку и вышел оттуда, неловко вертя в руке, сам ей удивляясь, какую-то необычайной формы пузатую бутылку ликера. Нина делала нелестные замечания, очевидно, не одобряя покупку.

Они решили отправиться на запад, к Ла-Маншу, а не на юго-запад, где обосновался за Бордо Фондаминский. Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды – к самому оплоту будущей атлантической стены.

Эта наша встреча происходила точно в бреду. Да и вся Франция в эти сказочные июньские дни походила на злой вымысел. Шарль де Голль мучительно и медленно перерождался из захолустного полковника в легендарного принца.

А кругом толпа, высохшие горожане, старики, дети – ночью, на земле, на соломе, на траве. С близкого шоссе слышен шорох библейской саранчи: это миллионы обывателей брели дальше на юг, неся свои чемоданы и артриты.

Кто помоложе, покрепче, тому было легко: топтал отстающих и пробирался вперед. Утешительно, конечно. Надо только хорошо рассчитать, так, чтобы наибольшие социальные, поли-

⁵⁷ Приемный центр (фр.).

тические и геологические перевороты падали на тот период жизни, когда мы в расцвете своей биологии, физиологии и духа.

Эти недели, несмотря на все лишения, остались в памяти многих из нас как лучшая пора отпуска, каникул, освобождения от городского плена. Закусывая у фонтана галло-римской эпохи, попивая теплое вино в обществе находчивых и понятливых южан, нетрудно было еще благословлять юг, Францию, жизнь! Но людей, вынужденных проходить через такого рода испытания в Польше, Бельгии или Маньчжурии, я воистину жалею. Какая несправедливость в судьбе народов, даже если предположить, что основные грехи – жадность, глупость, похоть, зависть, гнев – те же приблизительно повсюду.

В самом деле, может ли что-нибудь заменить пейзаж латинской Европы, ее климат, позволяющий не только заниматься живописью круглый год, но и собирать два-три урожая картофеля? (В таких землях не может быть хронического, регулярно повторяющегося голода, как, помните, в России, все равно – татарской, царской или социалистической.) А снег и метель оставим для зимнего спорта: месяц в году. Ведь сама Татьяна, владевшая несколькими сотнями душ, все-таки не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы; есть у меня думка, что если бы ей удалось вырваться и очутиться “под небом вечно голубым”, то она, пожалуй, стала бы невозвращенкой. (Пушкину безоговорочно отказывали в заграничном паспорте; Гоголю и Тургеневу в этом смысле повезло.)

А через год Федотовы прикатали из Парижа в Марсель получать американскую визу, оттуда они мне прислали длинное письмо в Монпелье, давая разные практические советы и обещая свою помощь.

Нужные пароходы шли редко. Елена Николаевна очень беспокоилась за судьбу мужа. Так что Федотов сел на первое подвернувшееся судно и таким образом сразу попал в лагерь в Африке (под Дакаром).

Моя жена, бывшая в то время в Париже, рассказывала мне потом, что Фондаминский опять уже мотался по разным собраниям и довольно часто посмеивался над незадачливым профессором:

– Вот Федотов убежал отсюда в Африку и там попал в лагерь! Подумайте, в Африке! А мы еще здесь, здесь еще можно работать!

Когда я с семьей добрался наконец до Нью-Йорка, в июле 1942 года, на пристани нас приветствовала Е.Н. Федотова, вручила мне 20 долларов, собранные среди друзей; в этот первый год второго изгнания мы еще часто встречались. Но особой близости уже не было. Точно всем было стыдно за какие-то лишние слова, сказанные впопыхах. А слов чужих и лишних произнесено было много.

В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен... Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы. Тут были свои бонзы и обер-офицеры, требовавшие уважения и даже почитания. Литературный стиль, здесь царствовавший, понаслышке напоминал Ригу, а теперь хлынули “европейцы”, и, разумеется, число обиженных или недовольных становилось с каждым днем больше.

Георгий Петрович, конечно, примкнул к “Новому журналу”, но не было Фондаминского, и Федотов должен был себя там чувствовать одиноким, как белая ворона.

Статьи Федотова, его выступления меня беспокоили. Я выехал из Франции, когда раздавались первые артиллерийские залпы по Сталинграду и вся Европа опять прислушивалась к шуму битвы на поле Куликовом. Все знали: там теперь решается судьба гуманистического наследства. Сталин, не желая этого, защищал Иерусалим, Афины и Рим.

У марсельского консула я встречал беженцев, с ужасом и надеждою осведомлявшихся у меня:

– Как вы думаете, отстоят Севастополь?

Случилось так, что американская администрация, опасаясь провокаций или шантажа, ввела новое правило, по которому лица, родившиеся на территории, уже захваченной немцами, не могли получить визы. В результате пышно расцвели фабрики фальшивых метрических и других свидетельств. Так что австриец, осведомлявшийся, отстоят ли русские Крым – место его нового рождения, – был кровно заинтересован в утвердительном ответе.

Не только Севастополь или Россию отстаивали тогда советские народы, но все, что было в мире униженного или преследуемого. И молитвы святых, равно как слабых, грешных жертв или героев, были тогда с Россией, за Россию, опять святую, великую, в последнем стремительном броске всегда исправляющую свои ошибки, искупающую вину в братском союзе с просвещенными державами Европы.

Так было во времена татар и Карла Шведского, шедших покорять весь мир. То же случилось с Наполеоном и дважды на нашей памяти против немцев. Всякий раз Россия, необъяснимым чудом подстрекаемая ангелом или архангелом, в последнюю минуту выпрямлялась и занимала свое ответственное место рядом с традиционно христианскими, гуманитарными народами. (В частных и более мелких случаях князья, цари и комиссары, увы, грешили, и даже очень.) И это повторится опять, завтра, в решительной схватке с китайцами или марсо-венерианскими полчищами...

Ночью я шагал по безлюдным улицам Монпелье, подметаемым резким морским ветром. Я возвращался из кафе, где играл в шахматы с испанскими эмигрантами. Восток прояснялся и, казалось, вспыхивал от многочисленных взрывов тяжелой артиллерии. Я почти ощущал эти далекие удары, а от воздушных воронок начинал задыхаться. Чудилось в небе: вот огромная, вставшая на дыбы кобылица, отбивающаяся передними копытами от стаи волков, огрызающаяся и жалобно ржущая в снежной степи... она осторожно пятится к Волге, а лицо кобылицы прекрасно и из ноздрей вырывается пламя!

В таком настроении мы отплывали в Новый Свет. А Федотов позволял себе оставаться при особом мнении, как в пору Мюнхена. Впрочем, спор шел не о настоящем, где нам предстояло бороться и во что бы то ни стало победить – этого он не отрицал; расхождения начались в связи с будущим – гадким и постыдным, по утверждению Федотова.

Нам представлялось, что после такого светлого подвига в паре с Европой что-то неминуемо тронется с места, сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией.

Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе конец западной культуре!

По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию – пожирала часть Европы.

Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и даже вражды.

Мы с Георгием Петровичем жили на одной улице, Вест, 122, рядом с теологической семинарией, где он преподавал. Он был уже очень болен и часто отлеживался или отсиживался неделями в своей комнатухе, похожей на келью, только с остатками вечного неприбранного чая.

К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они все быстро подружились. Федотов часто выводил И., протезировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал.

Объяснялось это главным образом жаждою учеников. В России к словам Георгия Петровича прислушивались бы два поколения студентов, что и составляет секрет удачи любого

властителя дум. От нас, парижских своих друзей, Федотов такого признания не мог ожидать. Наши отношения, всегда, вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел свое мнение и норовил его протолкнуть. Получалась здоровая циркуляция, залог живой культуры: *give and take*. . . Одни давали меньше и брали больше, но все участвовали в круговой творческой поруче.⁵⁸

И. был учеником Федотова, и это должно было утешить профессора на последнем этапе жизни. Федотов нашел панацею для России: Пушкин! “Пушкин – это Империя и Свобода”, – определил он. И ученики повторяли с воодушевлением: “Империя и Свобода!”

В Париже я однажды спросил Федотова: “А что, если империя борется со свободой? «Клеветникам России», «Гавриилиада» – что делать с этим хламом?” Впрочем, относительно Польши Георгий Петрович отвечал не колеблясь: “Это наш грех!”

Изредка в сумерках я встречал одиноко бредущего Федотова: он шел в сторону Амстердам-авеню в дешевый ресторан, а затем в темное, полунегритянское синема – ныне уже разрушенное. Мы беседовали несколько минут у моего крыльца, точно на бульваре Сан-Мишель.

Федотов:

– То, что вы находите у апостола Павла элементы гностицизма, это хорошо. Вот если бы их было много, тогда плохо.

Я указывал на то, что в бл. Августине больше манихейской ереси, чем в Тертуллиане – монтанистской.

– Тут важно направление. Первый шел от ереси к церкви, а второй, наоборот, удалялся, – объяснял Георгий Петрович и смеялся моему замечанию: “Мне все «африканцы» напоминают Дзержинского”.

В те годы в “Новом журнале” еще печатался мой “Американский опыт”; и все, что было бездарного в нашей эмиграции, ополчилось против него. Георгий Петрович был одним из моих немногочисленных заступников. После выхода в свет очередной книжки журнала Марья Самойловна Цетлина приглашала к себе от имени редакции всех сотрудников для обсуждения изданного номера. Как полагается для истинных демократов, меня, автора большого, спорного романа, она не приглашала.

В отсутствие Яновского многоуважаемые и бездетные зубры уже ничем не стеснялись. Так что бедный редактор М. Карпович вынужден был даже на время приостановить печатание “Американского опыта”, пропустив один или два выпуска. Атаки против меня велись главным образом под знаком американского “патриотизма”, и обвиняли меня в сочувствии фашизму.

Только благодаря Федотову и еще нескольким доброжелателям, кажется Извольской и Александровой, Карповичу удалось довести роман до конца. Надо отметить, что со смертью моего старого знакомого М.О. Цетлина стало легче вести дело с редакцией “Нового журнала”, то есть с М.М. Карповичем.

– Это наша принципиальность тому виною, – невесело улыбаясь, поучал Федотов. – Наше несчастье – принципиальность русской интеллигенции. Эта принципиальность делает из культурных, благородных людей цензоров и жандармов. А Карпович пришел из совсем другой среды.

Как-то в самом начале моего пребывания в Нью-Йорке я отправился на вечер “приехавших из Европы”; когда собрание кончилось, мы все застряли у вешалки по вине Георгия Петровича.

– Что, калоши ищите? – пошутил я. (По свидетельству Н. Федотовой, отец ее в Новом Свете первым делом побежал и купил себе калоши, напоминающие “Треугольник”.)

Но оказалось, что Федотов потерял номерок и не может объяснить, как выглядит его пальто. Пришлось дожидаться, пока народ разбредется; да и тогда Георгий Петрович воспри-

⁵⁸ Давать и брать (*англ.*).

нял свое пальто с долею недоверия, ибо он именно в это утро получил его в дар от какого-то благотворительного общества и не успел толком разглядеть. Анекдоты с одеждою – не случайность в жизни Федотова, они преследовали его до самого гроба, поэтому я о них упоминаю.

По болезни Георгий Петрович часто пропускал занятия в Институте богословия. Его непосредственный начальник о. Флоровский, единственный современный крупный русский теолог, вышедший из среды иереев, а не бывший “интеллигент, писатель, общественный деятель”, человек желчный и обиженный “разными Бердяевыми”, почему-то не доверял болезни Федотова, во всяком случае, не проявлял особой нежности и грозился его исключить. На этой почве между ними даже возникали распри, ничего общего с патристикою не имеющие. Так что когда о. Флоровскому пришлось отпевать Георгия Петровича, то некоторые восприняли это как временное торжество врага.

В Си Клиффе собрался очередной съезд, кажется, студенческого движения. Я поехал туда, рассчитывая встретить многих старых друзей. Был жаркий летний день, и я остановился у ресторанчика над заливом. За соседним столиком сидел В.Г. Терентьев, тоже освежаясь каким-то холодным напитком. Это он мне сообщил: “Вчера в госпитале скончался Федотов”.

Из всех участников съезда наиболее удрученным и даже растерянным выглядел М.М. Карпович: в недалеком будущем ему предстояло последовать за Георгием Петровичем.

Тогда же, в Си Клиффе, я познакомился с одним из бывших учеников Федотова, о. Александром Шмеманом, с которым потом уже часто встречался в нашем философско-религиозном кружке. Таким образом, культурная преемственность оказалась установленною.

Судя по последним письмам Федотова к жене, он ушел от каких-то знакомых, где отдыхал летом, в местную маленькую больницу: “Благодаря Синему Кресту здесь почти бесплатно, и уютно, и чисто, и тихо...”

– Под вечер, – рассказывала медсестра, – он сидел на диване в общей гостиной, с книгою и обязательной чашкою чая.

Это был некий чудесный и сложный акт в жизни Федотова: чай и книга – нераздельные. Сестра в последний раз видела его именно за этим занятием: пил глазами и губами, изогнувшись в халате. Когда спустя минут пять она вернулась в залу, Георгий Петрович был уже мертв.

Оставалось перевезти тело в Нью-Йорк и похоронить. Этим занялся один из новых друзей Федотова, Зубов, не знавший основных фактов биографии Георгия Петровича. Комнатка, где ютился профессор, при теологическом институте, оказалась запертою, а ключ застрял где-то в вещах покойного; между тем похоронное бюро настаивало на том, чтобы усопший был облачен в черную пару (как говорится, dignified). И местный друг Федотова ничтоже сумняшеся купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю, ему подкрасили щеки и губы; в гробу, посередине собора (на Ист Второй улице), Федотов полулежал как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот добротный пиджак, в котором его собирались хоронить.⁵⁹

⁵⁹ Облагорожен (англ.).

IV

Напишите так, чтобы каждое слово пахло!
и. фондаминский

Фондаминского в двадцатых годах я редко встречал. Говорили, что, хоть он и числился редактором “Современных записок”, о беллетристике не берется судить – не считает себя компетентным! И это мне нравилось.

Обычно в эмигрантских изданиях приличного толка господствовало убеждение, что только в оценке стихов требуется специальная сноровка или культура; прозу же любой честный общественный деятель способен прочесть и забраковать. Зарубежная поэзия от этого явно выигрывала; стихи отправляли экспертам или же их печатали “на веру”, руководствуясь мнением ведущих критиков... Верстали рифмованные строки между отрывками прозы – на манер виньеток. Разумеется, главное преимущество виршей заключалось в их портативности. Они занимали мало места и не мешали вести точный подсчет советским преступлениям.

В прозе же, извините, Вишняк-Руднев (“Современные записки”) и Слоним (“Воля России”) сами хорошо разбираются и в консультантах не нуждаются: на мякине их не проведешь! Результаты оказались совершенно плачевными для “Воли России”; в “Современных записках” эта установка была постепенно сломлена сплошным напором молодой литературы и еще благодаря поддержке Фондаминского, на собственный вкус не полагавшегося и прислушивавшегося к общественному мнению...

Истина заключалась в том, что для оценки художественного произведения у этого типа поколения людей (в другом плане весьма замечательных) совершенно отсутствовали соответствующие органы. Мне всегда казалось, что если бы иной редактор долго нюхал рукопись, то он бы понял гораздо больше, чем только читая ее.

На крупном смуглом лице Фондаминского не последнее место занимал нос с мягкими раздувающимися ноздрями; весь облик его был несколько чувственный, яркий, похожий на горца, чеченца – статный, красногубый, с темным горячим взглядом из-под совиных, дугою, бровей. Позже, уговаривая нас писать статьи для “Нового Града” или “Новой России”, он обязательно добавлял:

– Только напишите так, чтобы каждое слово пахло! – И прижимал сложенные в щепоть пальцы к живым, красивым ноздрям, смачно втягивая воздух, точно наслаждаясь воображаемым ароматом нашего будущего творения.

Другие редакторы “Современных записок” были настроены скорее скептически и не ждали от нас проку... Руднев был деликатнее Вишняка, осторожнее, глубже, но в сущности страдал той же болезнью непогрешимой “принципиальности”. Он только стелил мягче и умел выслушать человека, не сразу прерывая его. Когда Руднев заявлял: “Этого я не понимаю...” – то, естественно, всем объяснениям наступал конец. Эти люди, в целом как поколение на редкость ограниченные, главным образом полагались на свой разум. То, чего Зензинов “не понимал”, не существовало, не должно было существовать в приличной литературе.

Был Руднев честнейшим, порядочнейшим русским интеллигентом, социалистом, земским врачом. Мне случалось видеть на лице его следы подлинного страдания, когда он возвращал рукопись молодому писателю, которого считал талантливым. Но увы, “этого я не понимаю...”.

Долг прежде всего, причем долг именно в собственной интерпретации, без поправок и компромиссов.

Бытовым образом В. Руднев тяготел к православию, любил русскую церковь и ходил туда по большим праздникам; но не понимал, как это можно – спорить о религии или зани-

маться теологическими тонкостями. Религия – частное дело гражданина, личное! Она должна быть отделена от государства и всей общественной жизни человека. Более преступную чепуху трудно себе представить, хотя исторически она, по-видимому, оправдана.

Разумеется, при таких настроениях появление Бердяева, Федотова и мистически настроенной молодежи в недрах “Современных записок” (и из номера в номер) можно счесть за чудо! Здесь сказалось влияние Фондаминского.

Впрочем, время работало всецело, увы, недолго, на нас. И к 1936 году появились книжки журнала без единого “старика”, все сплошь молодежь. А в статьях только “мистики и мракобесы”. Никаких Шмелевых, и даже без Алданова. А тема Учредительного собрания незаметно сменилась мистикой демократии, равенством Богом сотворенных душ и грядущим тысячелетним идеалом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.